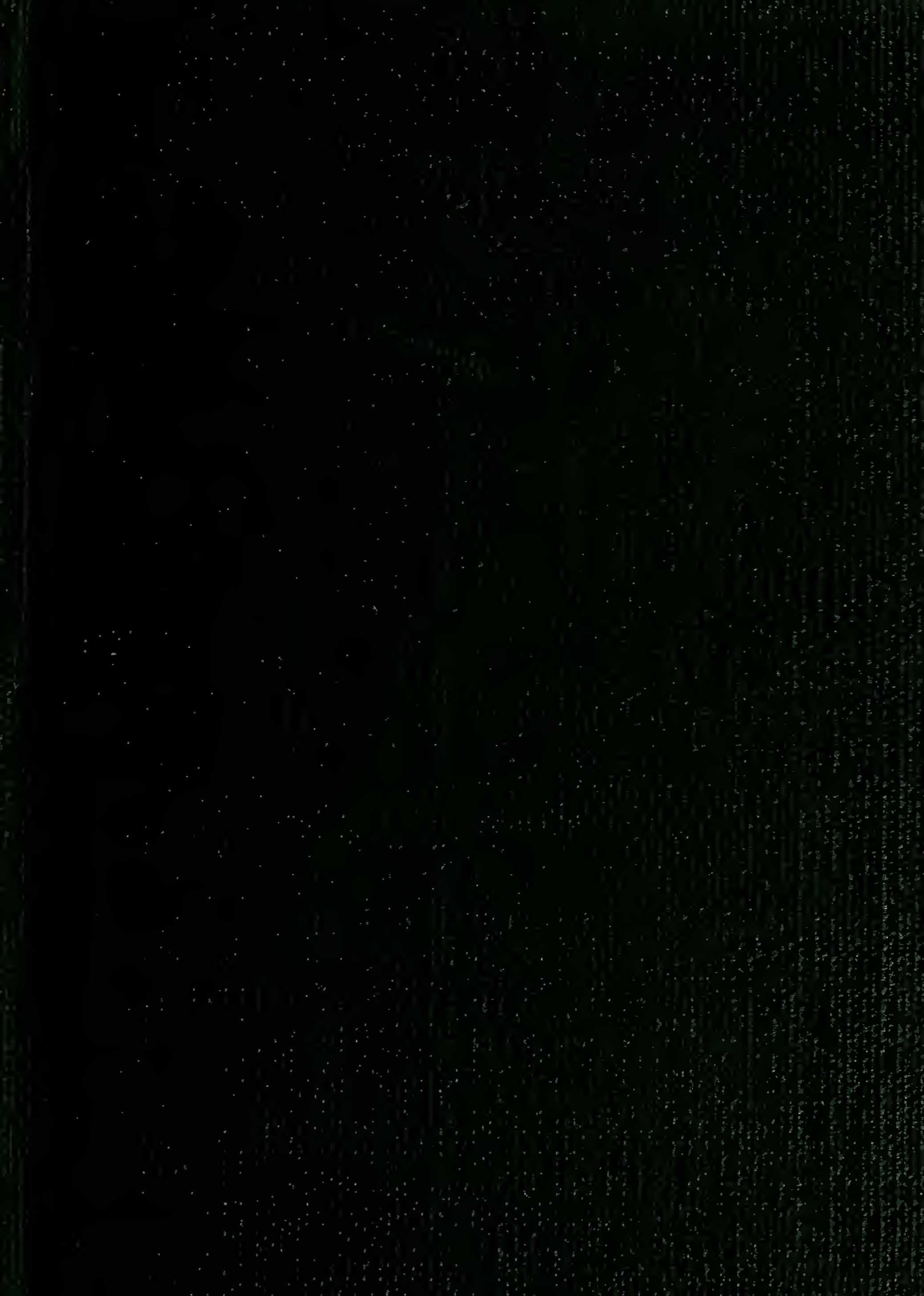


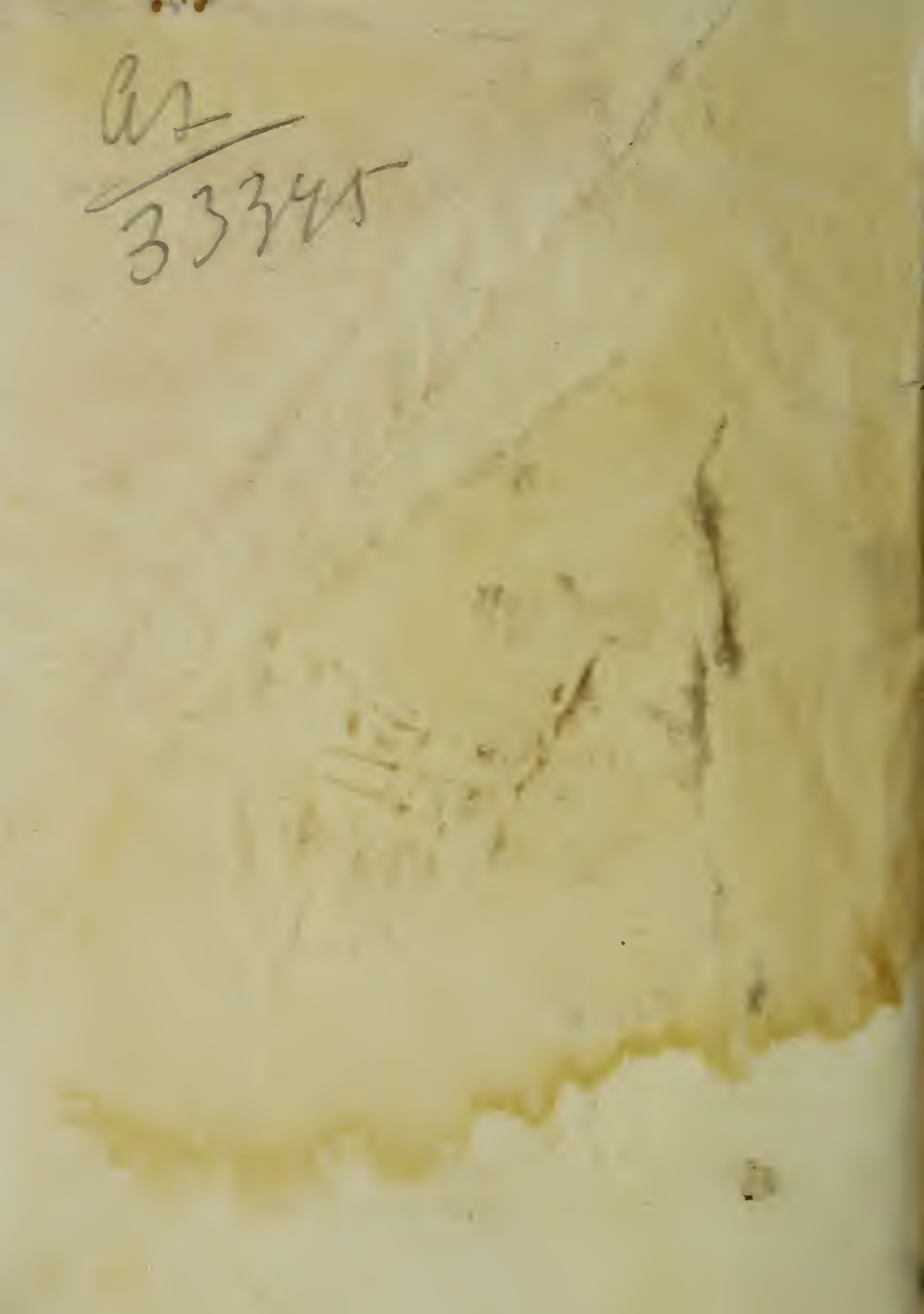
ТЮТЧЕВ

Сборник статей

РЕДАКЦИЯ А. Л. ВОЛЫНСКОГО



«ПАРѲЕНОН»
Санктпетербург
1922


33345

ТЮТЧЕВ

Сборник статей

Сост. АЛЕКС. ТИНЯКОВ

Редакция А. Л. Волынского

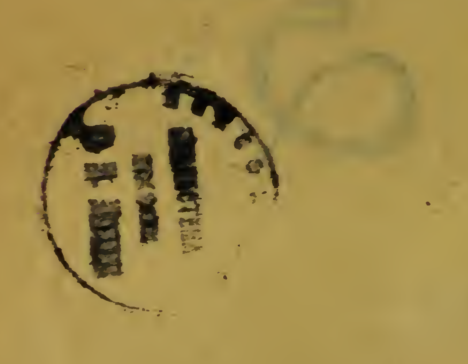


«ПАРФЕНОН»

Санктпетербург

1922

МАРКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
И РИСУНОК ОБЛОЖКИ РАБОТЫ
ХУДОЖНИКА Н. А. ТЫРСЫ



Р. Ц. № 1997. Май 1922. Тираж 1500.

14 Государств. типография Петр. Социалистическая, 14.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

«Так не забудьте же достать Тютчева. Без него нельзя жить»,—сказал однажды Лев Толстой В. Лазурскому („Воспоминания о Л. Н. Толстом", М., 1911 стр. 46), и такое отношение к Тютчеву не было у Толстого мимолетным: восторженные отзывы о Тютчеве слышали от него и Вл. Соловьев, и А. Л. Волынский, и многие другие.

Здесь Толстой не был одинок. Крупнейшие русские писатели—люди разных поколений и самых различных направлений,—об'единялись в чувстве восхищения перед поэзией Тютчева; Некрасов, Тургенев, Фет, Ив. Аксаков, Вл. Соловьев,—оставили замечательные критические работы, посвященные описанию и разбору произведений Тютчева.

К сожалению, работы эти почти недоступны для рядового читателя. Статьи Некрасова и Фета погребены в журналах 50-х годов; книга Ив. Аксакова

давно вышла из продажи; сочинения Тургенева и Вл. Соловьева, где перепечатываются их статьи о Тютчеве, в последнее время также становятся одною из редкостей нашего бедного книжного рынка.

Вот почему своевременно и целесообразно дать сейчас широкой массе читателей возможность познакомиться со статьями вышеперечисленных авторов о Тютчеве.

Ради полноты обзора в настоящей книге приведены также извлечения из статей некоторых наших современников. (Оставлена без внимания лишь книга Д. С. Мережковского—„Две тайны русской поэзии", в виду ее полемического характера).

Вступлением к книге служит статья составителя.

Александр Тинянов

Февраль, 1922.
Петербург.

ВЕЛИКИЙ НЕЗНАКОМЕЦ

«Имя малознаемое в массах грамотной, — и не только грамотной, даже образованной нашей публики», — писал о Тютчеве И. С. Аксаков вскоре после его смерти. Спустя более чем 20 лет Вл. Соловьев повторил и усилил утверждение Аксакова следующими словами: «Этого несравненного поэта, которым гордилась бы любая литература, хорошо знают у нас только немногие любители поэзии, огромному же большинству даже «образованного» общества он известен только по имени да по двум-трем (далеко не самым лучшим) стихотворениям, помещаемым в хрестоматиях или положенным на музыку». К сожалению, эти слова мы могли бы повторить и сейчас [1]). Как и во многих других вопросах, и здесь широкие круги русских читателей разошлись с одинокими ценителями и знатоками нашей поэзии.

Впервые в печати стихи Тютчева появились в 1819 г., но только в 1836 г. его имя становится известным некоторым русским писателям. Князь И. С. Гагарин выпросил у поэта несколько стихотворений и доставил их кн. П. А.

[1]) В основу этой статьи положена работа автора, напечатанная в 1913 году в журнале «Сев. Записки».

Вяземскому и Жуковскому. «Они вполне увлечены были поэтическим чувством, которое дышет в ваших стихах»,— писал Гагарин Тютчеву 12-го июня 1836 года. Тогда же эти стихи узнал и сам Пушкин. «Он ценит их как должно и отзывался мне о них сочувственно»,— сообщает Гагарин в том же письме.

И стихи нового поэта появляются в пушкинском «Современнике» (сентябрь и ноябрь 1836 г.). Но проходит целый ряд лет, и в 1850 г. Н. А. Некрасов говорит о Тютчеве почти как о незнакомце. Только еще через четыре года статья И. С. Тургенева и отдельное издание стихотворений Тютчева (СПБ., 1854 г.) сделали его имя известным тесным литературным кругам. С тех пор известность его не увеличилась и не упрочилась, несмотря на то, что целый ряд талантливых и образованных людей восторженно отзывались о нем в печати. В 1859 г. в широко-распространенном тогда журнале «Русское Слово» появилась глубокая и блестящая статья А. А. Фета: «О стихотворениях Ф. Тютчева». В 1868 г. появилось новое собрание сочинений Тютчева, изданное И. С. Аксаковым и редактированное П. И. Бартеневым, едва ли не больше всех потрудившимся над распространением сочинений Тютчева. П. И. Бартенев предостави[л] после смерти поэта целый № своего журнала его биографи[ю], написанной И. С. Аксаковым; печатал из года в год [...] письма, вновь находимые стихи, переводы его статей; он выпустил дешевое издание его избранных стихотворен[ий] (М. 1899); наконец, в его же журнале была помещена цен[н]ая работа В. Я. Брюсова: «Ф. И. Тютчев. Летопись его жизни». Столетний юбилей со дня рождения Тютчева не принес почти ничего нового и значительного в литератур[у] о нем, как о поэте, и не вызвал прилива должного внима-

ния к нему. Можно отметить лишь две юбилейные статьи о поэте: статью его сына, Ф. Ф. Тютчева, и статью Валерия Брюсова «Легенда о Тютчеве» [1]). Обе эти статьи проливают новый свет на биографию поэта и касаются важнейших моментов его жизни, которых не мог касаться (а иногда и не знал их хорошо) его первый биограф, Аксаков.

Из приведенной здесь короткой справки читатель может видеть, как медленно и трудно распространялась известность Тютчева; кроме того, он может отметить, что, начиная с 50-х (или даже с 30-х) годов, широкая масса читателей расходится с выдающимися представителями русской литературы в отношении к Тютчеву. Кн. Вяземский, Жуковский, Пушкин, Некрасов, Тургенев, Фет, Ив. Аксаков, П. Бартенев, позже Вл. Соловьев, Валерий Брюсов, Р. Ф. Брандт, П. В. Быков, все они восторгаются Тютчевым, собирают его стихи, печатают их, издают, пишут о них восторженные статьи... А публика в то же время почти не знает имени великого русского поэта. Он прожил 70 лет, не имев даже на минуту успеха, равного успеху не только Некрасова, но хотя бы Апухтина или Фофанова.

Причины, создавшие это обстоятельство, для разных людей разные.

Высшая русская интеллигенция, не зная Тютчева долгое время, имела на это некоторое право. Узнать его препятствовали особенности его жизни. В молодости (в 1822 г.) уехал он за границу и прожил там 22 года, состоя на дипломатической службе. При несовершенстве тогдашних путей сообщения такое длительное пребывание в чужих краях

---

[1]) «Ист. Вестник» 1913, кн. 7-я. «Новый путь», 1903, ноябрь.

создавало гораздо большую отчужденность от родины, чем это было бы теперь. На самого Тютчева это влияло мало и—после блистательных документальных доказательств Валерия Брюсова,[1] собранных им в статье «Легенда о Тютчеве», мы не можем,—подобно Аксакову,—думать, что Тютчев жил в духовном одиночестве, и считать чудом его непрерывную поэтическую деятельность и даже его близость к славянофильству. Уже один его дядька Хлопов многого стоит, а если прибавить к этому встречи с бр. Киреевскими, с Жуковским и целой вереницей выдающихся русских людей и поездки Тютчева в Россию, то мы поймем, что он все время жил скорее в русской, чем в иноземной среде... Но петербургское общество жило все же без Тютчева и могло знать его только в том случае, если бы он постоянно напоминал о себе. Но именно этого-то он не мог и не умел делать. По части переписки он был вряд-ли очень прилежен тогда, а в своем отношении к литературному успеху он представляет собою чуть ли не единственный пример в истории всех литератур. «Вы просили меня прислать вам мое бумагомаранье,—пишет он кн. Гагарину 3 мая 1836 г.—я воспользовался случаем от него избавиться... Делайте с ним, что хотите. Меня страшит старая исписанная бумага, в особенности, исписанная мною». Как мы знаем, это «бумагомаранье» восхитило кн. Вяземского и Жуковского и было сочувственно принято Пушкиным. Но Тютчев и при этом остался верен себе: с большим замедлением ответил он на письмо Гагарина, цитированное выше. В этом ответном письме (Мюнхен, 7 июля 1836) сквозит то же равнодушие к судьбе своих стихов. В этом же письме Тютчев сообщает со спокойной улыбкой о поразительном факте: «По возвращении из Греции (в 1833 г.), я принялся как-

то в сумерки разбирать бумаги и уничтожил большую часть моих поэтических упражнений, и лишь долго спустя заметил это. В первую минуту мне было несколько досадно, но я скоро утешил себя мыслью о том, что сгорела и Александрийская библиотека». Здесь уместно заметить, что, признавая огромное положительное значение за первой частью статьи В. Брюсова «Легенда о Тютчеве», мы не можем согласиться с его дальнейшей критикой аксаковской биографии. Полемизируя с Аксаковым, Брюсов пишет: «Тютчев явно работал над своими стихами, через несколько лет возвращался к прежде написанному, исправлял, переделывал». Это все бесспорно верно, но к судьбе написанного Тютчев был совершенно равнодушен и никогда не заботился об успехе. Здесь правее Аксаков, и Брюсов сам же устраняет полемический тон своей статьи, говоря далее: «Тютчев был поэтом, но не был литератором». В своей новейшей статье о Тютчеве Брюсов уже и не пытается полемизировать по этому поводу и спокойно перечисляет факты, говорящие о равнодушии Тютчева к внешней судьбе своих стихов.

Гораздо больше интересовался Тютчев своими успехами в «свете» и славой политического писателя, хотя необходимо добавить, что и здесь он не искал никаких выгод. Никогда не принимая участия в издании своих лирических стихотворений, свои политические стихи он иногда сам относил в редакции журналов, а незадолго до смерти он,—по свидетельству биографа,—по-детски радовался помещенному в «Рус. Архиве» переводу на русский язык его старых французских статей.

Поэтому поведение самого Тютчева снимает с высшего русского общества часть вины, состоявшей в незнании его поэзии. Зато, как человека, его встретили там и оценили по

достоинству и поняли, что и как человек, он—явление чудесное, единичное и прекрасное. «Он собою был дурен, небрежно одет, неуклюж и рассеян,—рассказывает граф В. А. Сологуб,—но все, все это исчезало, когда он начинал говорить, рассказывать; все мгновенно умолкали, и во всей комнате только и слышался голос Тютчева... Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, небрежно скатывались с его уст»... Мы знаем, что Тютчев любил светское общество, что он не мог дышать без него и из приведенных слов графа Сологуба мы видим, что общество отвечало ему такой же любовью и, кроме того, преклонялось перед его остроумием и перед его политической осведомленностью. Он стал для общества тем, чем хотел стать: любимым, балованным сочленом. Двери всех гостиных были открыты перед ним, сам двор любил его и прощал ему многое, чего не простил бы другому.

С другой стороны, его наиболее близкие братья по духу—поэты и литераторы—любили его за стихи не менее сильно и не менее действенно, чем светские люди, за его остроты и блестящие политические импровизации. Мы уже упоминали вскользь о нескольких статьях, встретивших Тютчева при жизни. Остановимся на них подробнее. Одним из первых его критиков был Некрасов. Из его статьи мы видим, как любил чистую поэзию «суровый» поэт-гражданин, как бескорыстно умел он восторгаться ею, как горячо умел приветствовать новые явления. Достаточно сказать, что, разбирая стихи «г. Ф. Т.», напечатанные в пушкинском «Современнике», он сравнивает Тютчева с самим Пушкиным и говорит: «казалось, только сам издатель журнала мог быть автором их».

Сравнивая же некоторые стихотворения Тютчева со стихотворениями Лермонтова, он в нескольких случаях без колебания отдает предпочтение «г. Ф. Т-ву» и без колебаний провозглашает его «первостепенным русским поэтическим талантом». Тургенев, писавший о Тютчеве четыре года спустя, был сдержаннее. Но тем ценнее его похвалы.

Глубоким уважением к таланту Тютчева дышет самый конец тургеневской статьи: «Популярности мы не предсказываем г. Тютчеву... Талант его, по самому свойству своему, не обращен к толпе и не от нее ждет отзыва и одобрения». В этом презрительном недоверии к читательской толпе с демократически настроенным Тургеневым сходится аристократ Фет. В 1859 г. он напечатал в «Русском Слове» свою замечательную статью «О стихотворениях Ф. Тютчева», и в конце ее повторяет мысль Тургенева, только смягчая ее жестокую сущность: «Немалого требует г. Тютчев от читателей, обращаясь к их сочувствию»,—говорит Фет. И грустно добавляет: «До сих пор большинство не отозвалось, да и не могло отозваться на его голос».

Тот же Фет сказал о Тютчеве крылатое и бессмертное слово, назвав его нашим «патентом на благородство».

Но, несмотря на все это, несмотря на восторги Некрасова, Тургенева и Фета, несмотря на труды П. Бартенева, И. Аксакова и В. Брюсова, русское общество до сего дня не знает Тютчева, не любит его, остается ему чуждым. Тютчев в этом случае не одинок. С ним разделяют такую судьбу многие наши поэты, несправедливо позабытые или и совсем неузнанные. Достаточно назвать имена: князя Вяземского, Боратынского, самого Фета, наконец, чтобы понять, что Тютчев—не отщепенец в стае русских лебедей... Но общество? Вот общество наше, отрекаясь от поэзии, не при-

знавая духовной необходимостью иметь постоянное общение с великими выявителями красоты, не чувствуя потребности пить из неиссякающих, кристальных родников искусства,— действительно остается в бескрылом одиночестве. И не этим ли добровольным отчуждением от искусства вообще и от поэзии в частности об'ясняется давно отмеченное одичание нашей интеллигенции и ее творческое бесплодие во всех областях жизни? Мы думаем, что в очень большой степени именно этим. Ибо, проходя мимо, напр., Тютчева, общество лишает себя возможности слушать не только сладкозвучного поэта, но и единственного в своем роде мудреца-мыслителя. Следует заметить, что мудрость Тютчева признавали не одни лишь его поклонники; напр., барон Пфеффель, строго судя Тютчева в некрологе (в газете «l'Univers»), выразился, однако, что Тютчев «рассеял на ветер (!) сокровища своего ума и мудрости».

Тютчева называют прежде всего поэтом природы, и это название имеет более глубокий смысл, чем кажется с первого взгляда, ибо Тютчев—один из немногих, имеющих подлинное право на этот титул. Можно писать прекрасные стихи о звездах и цветах, о птицах и зорях, создавать звучные мелодии и рисовать красивые пейзажи—и в то же время вовсе не быть поэтом природы, а быть певцом лишь ее случайных проявлений. К. Фофанов и Ив. Бунин представляются нам именно такими певцами и назвать их «поэтами природы» было бы неправильно... Тютчев писал Фету, что Фет «не раз под оболочкой зримой» узрел самое природу. Эти, уместные и здесь, слова будут еще более уместны, если применить их к самому Тютчеву. Тютчев более, чем кто-либо из наших поэтов, ощущал и видел «самое» природу, Космос в его целом. У него был великий,

редкий и страшный дар, дар проникать духовным взором до самых оснований всемирного бытия—и дар еще более редкий—чувствовать себя в одно и то же время человеком и макрокосмом. Он видел, как

Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес («Видение»);

у него бывали минуты, когда он от глубины души восклицал:

«Все во мне,—и я во всем» («Сумерки»);

и сам «древний хаос» был для него—«родимый».

По высоте своих созерцаний, он принадлежал к «Великим Посвященным». Его космические стихи были бы понятны индийским браманам, и браманы признали бы в их авторе равного себе брата... «Сам Гете не захватывал, быть может, так глубоко, как наш поэт, темный корень мирового бытия»,—говорит Вл. Соловьев. В. Брюсов отмечает, что Тютчев «предугадывал учение индийской мудрости». Нам кажется, что не только предугадывал, но что в иные минуты своей жизни он достигал тех высот, к которым стремятся индийские мудрецы, что у него были данные, чтобы достичь совершенства Mahâtm'ы, хотя, быть может, если бы он стал махатмом он перестал бы быть поэтом. Но в том-то его величайшая заслуга, что он даже самые таинственные из своих созерцаний пожелал и сумел выразить в образах, сумел сказать о них размерной речью. Индийские браманы, вероятно, прокляли бы его за то, что он открывает тайну божества; мы приветствуем его за это, как нового Прометея... Не будучи в силах (а, быть может, и не желая) оставаться на высях чистого созерцания, Тютчев падал (а, быть может, и возвращался)—в свою человеческую оболочку. Но, становясь человеком, он не забывал истины

своих нечеловеческих созерцаний и ощущений и на все в этом мире смотрел, как мудрец. «Смотри»—говорил он,—как на речном просторе плывут льдины; они—

Все безразличны, как стихия,
Сольются с бездной роковой—

и прибавлял:

О, нашей мысли обольщенье
Ты—человеческое я!

То же выразил он и более точно:

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих лишь грезою природы.
Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной».

И эти стихи, а также и многие другие, как напр., «Дума за думой, волна за волной», индийские мудрецы признали бы своими и сказали бы, что автор их достиг «Buddhi», что означает — Мудрость. «Каждое его слово сочилось мыслью»,—сказал о Тютчеве Аксаков, и если мы разберем слово за словом такое стихотворение, как, напр., «Святая ночь на небосклон взошла» [1]), мы скажем, что Аксаков не преувеличил. Тютчев говорит:

Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный,

---

[1]) Цитирую это стихотворение по снимку с автографа, приложенному к собранию сочинений. Весьма примечательно зачеркнутое автором заглавие этого стихотворения: «Самосознание».

Как золотой покров, она свила,
Покров, накинутый над бездной.

Сначала эпитеты поэта могут показаться малозначительными: «Святая ночь», «любезный день». Но вдумайтесь в них и вы увидите, какое этими эпитетами сделано резкое противопоставление. Ночь—«святая», т. е. нечто высшее, чему можно только молиться; день—«любезный», его можно любить, обожать. Ночь властвует над днем, она его «свивает», как «покров» (в другой редакции: «как ковер»). Настала ночь, т. е. явилось властное божество. Что же делает человек? Молится? Нет!

И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и немощен и гол
Лицом к лицу пред пропастию темной.

Итак: святая ночь, божество—для человека только «пропасть».

На самого себя покинут он.
Упразднен ум и мысль осиротела;
В душе своей, как в бездне погружен,
И нет извне опоры, ни предела.

Человек поражен и испуган «святой ночью», но он не сдается перед ней, не отдается божеству; он остается один, «в душе своей, как в бездне погружен».

И чудится давно минувшим сном
Ему теперь все светлое, живое.

«Все светлое, живое», т. е. прекрасное отняла у него «святая ночь»! Человек стал лицом к лицу с загадкой, с тайной, с божеством и почувствовал его, как врага. Но зов божества властен:

И в чуждом, неразгаданном, ночном
Он узнает наследье р о д о в о е.

Описание этого по-истине страшного поединка Тютчев заканчивает, как истинный индусский мудрец! Никто не победил: человек «узнает наследье родовое».

Все во мне,—и я во всем!

Макрокосм и я—одно! Это—истина, но как трудно постичь ее. Ценою каких мук, страданий и ужасов достигает человек этого сознания. Сам Эдгар По не создавал сцен более страшных, чем сцена этого ночного поединка, рассказанная Тютчевым в 16 строчках!

По высям творенья я гордо шагал,
И мир подо мною недвижно сиял,—

признается Тютчев в стихотворении «Сон на море». Но он не остался «на высях творенья» и из «тихой области видений и снов» ушел в человеческий мир. Из стихотворения «Святая ночь на небосклон взошла» мы поймем, что он увидел в человеческом мире:

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе,
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею создаем.
(«Певучесть есть в морских волнах»).

Человек представился ему, как боец, как богоборец, как существо в основе своей трагическое. И если человек всегда «в душе своей, как в бездне погружен», то эта бездна не «миротворная» бездна природы, а клокочущий океан, над которым проносятся такие вихри, как любовь и страсть. Тютчев, как никто, понял трагическую природу человеческой любви. Для него любовь и самоубийство—близнецы, и он говорит о них, что

—в мире нет четы прекрасней,
И обаянья нет ужасней,
Ей предающего сердца («Близнецы»).

Для него любовь не только или вернее не столько—

Союз души с душой родной,—

сколько «поединок роковой» («Предопределение»), который кончается смертью сердца более нежного, более любящего. Любовь Тютчева к женщине не менее своеобразна и глубока, чем все в его поэзии. Это не платоническое любование, не бессильное мление, а подлинная, пламенная страсть. Он любит чистые глаза подруги, «с игрой их пламенно-чудесной»,

Но есть сильней очарованье:
Глаза, потупленные ниц,
В минуты страстного лобзанья,
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огнь желанья.
(«Люблю твои глаза»)

Но, как у истинного поэта и мудреца, страсть у Тютчева не была животной и грубой. У него нет ни одного детального описания лица любимой женщины, не говоря уже про «груди», «бедра» и т. п. Эпитеты, прилагаемые им к любимым женщинам, исключительно целомудренны и чисты: «младая фея», «кудри молодые», «волшебный взор», «смех младенчески-живой». От этого целомудрия, от этой стыдливости страсть у Тютчева,—повторяю,—теряет свою отталкивающую грубость, но выигрывает в силе. Страсть Тютчева—не безобразные корчи тела, а пылание духа, охваченного сладострастием.

Я очи знал,—о, эти очи!
Как я любил их, знает Бог!
От их волшебной, страстной ночи
Я душу оторвать не мог.
В непостижимом этом взоре,
Жизнь обнажающем до дна,

Такое слышалося горе,
Такая страсти глубина!

. . . .

И в эти чудные мгновенья
Ни разу мне не довелось
С ним повстречаться без волненья
И любоваться им без слез.

Здесь дано всестороннее, совершенное изображение человеческой любви, и не только обозначены все элементы этого сложного чувства, но и синтезированы так, как синтезирует их сама природа, да и то в лучших человеческих сердцах. Сладострастие, нежность и роковая печаль слиты здесь в один бессмертный аккорд. Обратим здесь же внимание,—чтобы не повторять этого в других случаях,—на исключительное умение Тютчева достигать наивысшей силы посредством самых простых слов. При описании трагического горя, сквозящего в чертах любимого лица, другой поэт произнес бы сотню самых страшных слов, упомянул бы о змеях, терниях, огненных жалах и т. п.—Тютчев ограничивается одним прилагательным «такой»:

Такое слышалося горе,
Такая страсти глубина!

И мы уже не читаем стихи, а слышим живой человеческий голос, дрожащий от восхищения, слитого с любовной жалостью,—и нам хочется ответить на этот голос вздохом сочувственного восторга и молитвенного преклонения... Такое понимание и знание любви не могло развиться на почве отвлеченных переживаний. И, действительно, вся жизнь Тютчева прошла под знаком увлечения женщинами, а в последнее время названо имя и той женщины, которую он любил пламеннее, дольше и мучительнее других. Встреча его с г-жей Денисьевой произошла в 1850 г., когда ему

было уже 47 лет, и вот как рассказывает об этом сын поэта: «Встретив особу, о которой я говорю, Федор Иванович настолько сильно увлекается ею, что, ни на минуту не задумавшись, приносит в жертву своей любви свое весьма в то время блестящее положение. Он почти порывает с семьей, не обращает внимания на выражаемые ему двором неудовольствия, смело бравирует общественным мнением»... Через 14 лет после встречи с поэтом г-жа Денисьева умерла. Смерть ее вызвала к жизни несколько любовных элегий Тютчева, и в этом роде поэзии никогда ничего лучшего не было написано на русском языке. Привожу одну из этих элегий:

Накануне годовщины 4 августа 1864 г.

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги!
Друг мой милый, видишь ли меня?
Все темней, темнее над землею...
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою.
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня.
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Повторение рифм и обращений в этом стихотворении как бы указывает на постоянство любви и печали поэта. А если мы к этой элегии присоединим стихотворения: «Нет дня, чтобы душа не ныла», «Есть и в моем страдальческом застое», «Опять стою я над Невой» (июнь 1868) «Весь день она лежала в забытьи» и стихотворения, напи-

санные при жизни госпожи Денисьевой, напр., «О, как убийственно мы любим», то мы должны будем признать, что ни одна русская женщина не была воспета так прекрасно и трогательно. Поэтому странно звучат слова Тютчева-сына о том, будто бы: «это увлечение... сделало то, что последние 20 лет прошли для Ф. И. почти безрезультатно в смысле какого бы то ни было творчества». Сказав это, он приводит стихи Тютчева, бывшие результатом этого самого увлечения. Между тем, только пяти этих стихотворений было бы достаточно, чтобы сделать бессмертными имя Тютчева и его любовь...

Конечно, такая любовь не могла не надломить и не обессилить поэта, и не даром он воскликнул однажды:

Любовь есть сон, а сон—одно мгновенье.

Итак из обоих «поединков роковых», из поединка с Космосом и из поединка с Любовью, поэт вышел победителем. Поэт, но не человек.

Пред стихийной, вражьей силой,
Молча, руки опустя,
Человек стоит уныло,—
Беспомощное дитя.

Как человеку, Тютчеву нужен был отдых,—и был приют, где он мог укрываться на время от бурь, где его поэзия начинала звучать иными, радостными и звонкими звуками. Этим приютом была для него зримая, внешняя красота природы. «Первых листьев красота, омытых в солнечных лучах, с новорожденною их тенью» («Первый лист»), «любовь земли и прелесть года»—весна («Весна»), знойные летние дни, «туманная и тихая лазурь» осенних вечеров, золотистые волны нив, «убеленные луной», одним словом, все проявления природы чаруют Тютчева, и он

безгорестно и любовно воспевает их и, славословя весну, обращается к самому себе с таким призывом:

Игра и жертва жизни частной,
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан! («Весна»)

Стихи, посвященные внешней красоте природы, образуют третью сторону лирики Тютчева. Часто они сливаются со стихами космическими, но иногда ограничиваются простой передачей картины или впечатления. Исчислять и отмечать красоты этих стихотворений мы считаем невозможным, так как для этого пришлось бы занять несколько страниц, да и лишним, так как эти стихотворения Тютчева приведены в наших двух приложениях.

Что касается формы произведений Тютчева, то лучшее определение для нее мы найдем в стихах самого поэта,— это «золотой покров», накинутый над бездной... Что же касается подробностей, то место им не в краткой статье, а в специальном исследовании...

Особый отдел в поэзии Тютчева образуют политические стихотворения. В них рассыпано много остроумия, вкраплено много великолепных образов, вложено много неподдельного пафоса, но, в общем, они ниже гения Тютчева и говорить о них подробно после разбора чисто-лирических его стихотворений как-то не хочется, тем более, что о них много говорил Ив. Аксаков, а в новейшее время им посвятил свою добросовестную работу Н. Аммон [1]. Несколько слов о них сказать, однако, необходимо.

---

[1]) «Несколько мыслей о поэзии Тютчева».—«Журн. Мин. Нар. Просв.», 1899. № VI, стр. 416—470.

В своих политических стихотворениях Тютчев является прежде всего, ярым славянофилом, мечтающим о всеславянском царстве с Россией во главе.

Венца и скиптра Византии
Вам не удастся нас лишить,—

восклицает он в одном стихотворении.

Но мечты его о славянской гегемонии не отличаются последовательностью и цельностью. Именно: одну из даровитейших славянских наций—польскую нацию—он не считает равноправным членом этой семьи, презрительно клеймит ее названием «Иуды» и посвящает Польше наиболее злые строчки своих политических стихов:

В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон,—

пишет он о поляках во время восстания 1863 г.

Такое отношение Тютчева к Польше вызывалось не только политическими его убеждениями, но и религиозными. Как это ни странно, Тютчев в своих политических стихотворениях высказывается не только, как христианин, но даже как воинствующий православный,—тогда как в своих лучших и глубочайших созданиях он совершенно чужд христианству и приближается к браманскому учению, напр., в одном из самых искренних своих стихотворений он заявляет:

И нет в творении Творца,
И смысла нет в мольбе.

Аксаков в биографии поэта называет Тютчева человеком «если не христианских верований,—то христианских убеждений». Эта оговорка осведомленного и осторожного биографа имеет большое значение; она наталкивает на целый

ряд размышлений и заставляет, в конце концов, усомниться в христианстве Тютчева.

Как Россию он любил лишь теоретически, издалека, так и православие он признавал больше на словах. Он не мог,—подобно Фету,—годами жить и вести хозяйство в своем поместьи; две недели пребывания в родном Овстуге ему казались пыткой, и «глубине России» он предпочитал Царское Село. Точно также он не мог, подобно Хомякову и другим славянофилам, поститься и усердно посещать церковные службы. В одном письме он сам с юмором рассказывает, как его ужаснула перспектива выстоять архиерейскую службу во время освящения Исаакиевского собора и как он сбежал домой от этой церемонии. (Ср. стихи Тютчева «И гроб опущен уж в могилу»). Записи в «Дневнике» А. В. Никитенко о предсмертных днях поэта и рассказ Аксакова о его кончине ничего не говорят о том, что, хотя бы перед смертью, Тютчева охватило религиозное настроение. Он до последнего вздоха интересовался политическими событиями дня, а не думами о «загробной жизни». Поэтому все его упоминания о православии—плод не истинного и непосредственного чувства, а отвлеченных логических рассуждений; лишь с точки зрения политической или—точнее—дипломатической и подходил он к вопросу о православии в своих стихах.

Больше цельности проявил он, как монархист. Здесь он несомненно был искренен и к кому бы он ни обращался,—к декабристам или к революционерам 1848 г., к полякам или к русским либералам,—везде он проявлял одинаковую горячность, силу и ненависть к анархии. В этом с Тютчевым можно соглашаться или не соглашаться, но нельзя не уважать его за его прямоту, смелость и постоянство. Эта

искренность чувства и давала ему возможность возвышаться в своих антиреволюционных стихах до уровня истинной поэзии и создавать поразительные образы. Таков, напр., образ в стихотворении «Декабристам», где, говоря о крови, пролитой ими, Тютчев пишет:

Едва дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов:
Зима железная дохнула
И не осталось и следов.

К сожалению, и здесь дипломатические мечты увлекали поэта за грань действительности и заставляли его сочинять такую «Русскую Географию»:

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая—
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство Русское.

При всем преклонении перед поэтом, мы должны заметить по поводу этих стихов, что автор как бы забыл, что сила государства и величие его — не в величине, а в культурности...

Александр Тиняков

КРИТИКА О ТЮТЧЕВЕ

ОБЗОР

1

Одним из первых высказался в печати о поэзии Тютчева **Н. А. Некрасов**. Статья его «**Русские второстепенные поэты**»—появилась в «Современнике» в 1850 г. (т. XIX), когда стихи Тютчева еще не были изданы отдельно, и самое имя поэта было неизвестно (Некрасов всюду называет его «г. Ф. Т.» или «г. Ф. Т-в»).

Некрасов, повидимому, был не мастер писать критические статьи, хотя и обладал хорошим критическим вкусом. Почти вся его статейка состоит из стихов самого Тютчева, приводимых целиком. Мы выделяем эти стихи и даем их в виде особого приложения; таким образом, они могут служить одновременно для характеристики и поэзии Тютчева и критического вкуса Некрасова.

Теперь же обращаемся к статье Некрасова:

«Стихотворения г. Ф. Т. принадлежат к немногим блестящим явлениям в области русской поэзии. Г. Ф. Т. написал очень немного, но все написанное им носит на себе печать истинного и прекрасного таланта, нередко самобытного, всегда

грациозного, исполненного мысли и неподдельного чувства. Мы уверены, что еслиб г. Ф. Т. писал более, талант его доставил бы ему одно из почетнейших мест в русской поэзии.

Главное достоинство стихотворений г. Ф. Т. заключается в живом, грациозном, пластически - верном изображении природы. Он горячо любит ее, прекрасно понимает, ему доступны самые тонкие, неуловимые черты и оттенки ее, и все это превосходно отражается в его стихотворениях. Конечно, самый трудный род поэтических произведений,—это те произведения, в которых, повидимому, нет никакого содержания, никакой мысли; это пейзаж в стихах, картинка, обозначенная двумя-тремя чертами. Уловить именно те черты, по которым в воображении читателя может возникнуть и дорисоваться сама собою данная картина, дело величайшей трудности. Г. Ф. Т. в совершенстве владеет этим искусством. (Далее для подтверждения высказанного Некрасов приводит: «Утро в горах», «Снежные горы», «Полдень», и «Песок сыпучий по колени»).

Все эти стихотворения очень коротки, а между тем ни к одному из них решительно нечего прибавить. Распространяйтесь в описании подобного утра, полудня или ночи («песок сыпучий по колени») хоть на нескольких страницах, вы всетаки не прибавите ничего такого, что бы говорило уму читателя более, чем сказано здесь осьмью строчками. Каждое слово метко, полновесно, и оттенки расположены с таким искусством, что в целом обрисовывают предмет как нельзя полнее. Нечего уже говорить, что утро г. Ф. Т. не похоже на вечер, а полдень на утро, как это часто случается у некоторых и не совсем плохих поэтов. Два заключительные стиха последнего стихотворения, подчеркнутые нами, одни составляют целую превосходную кар-

тину. Кто не согласится, что рядом с ним эти похожие стихи Лермонтова:

И миллионом темных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста,—

значительно теряют в своей оригинальности и выразительности. Вот еще превосходный пример удивительной способности г. Ф. Т. схватывать характеристические черты картин и явлений природы. (Следует: «Осенний вечер», «Есть в светлости осенних вечеров»).

Превосходная картина! Каждый стих хватает за сердце, как хватают за сердце в иную минуту беспорядочные, внезапно набегающие порывы осеннего ветра; их и слушать больно и перестать слушать жаль. Впечатление, которое испытываешь при чтении этих стихов, можно только сравнить с чувством, какое овладевает человеком у постели молодой умирающей женщины, в которую он был влюблен. Только талантам сильным и самобытным дано затрагивать такие струны в человеческом сердце; вот почему мы нисколько не задумались бы поставить г. Ф. Т. рядом с Лермонтовым; жаль, что он написал слишком мало. Нечего и говорить о художественном достоинстве приведенного стихотворения: каждый стих его перл, достойный любого из наших великих поэтов. Вот еще два стихотворения г. Ф. Т. в этом же роде. (Следует: «Что ты клонишь над водами»).

Ничего не прибавляем в похвалу этому стихотворению. Заметим только одно, что, несмотря на всю разность содержания, оно напомнило нам стихотворение Лермонтова «Белеет парус одинокий», которому оно, по нашему мнению, нисколько не уступает по своему достоинству.

Одною из лучших картин, написанных пером г. Ф. Т., почитаем мы стихотворение «Весенние воды» (Некрасов приводит его целиком).

Сколько жизни, веселости, весенней свежести в трех подчеркнутых нами стихах! Читая их, чувствуешь весну, когда сам не знаешь, почему делается весело и легко на душе, как будто несколько лет свалились долой с плеч,— когда любуешься и едва показавшейся травкой и только что распускающимся деревом, и бежишь, бежишь, как ребенок, полной грудью впивая живительный воздух и забывая, что бежать совсем неприлично, не по летам, а следует идти степенно, и что радоваться тоже совсем нечего и нечему. Далее Некрасов приводит стих Тютчева «Как океан об'емлет шар земной» и говорит:

«Последние четыре стиха удивительны: читая их, чувствуешь невольный трепет. Наконец, вот еще стихотворение, которое принадлежит к лучшим произведениям г. Ф. Т-ва, да и вообще всей русской поэзии. (Приведено: «Я помню время золотое»).

Прочитав это стихотворение, читатель, конечно, согласится с нами в том, что сказали мы о таланте г. Ф. Т-ва; нет сомнения, от такого стихотворения не отказался бы и Пушкин. Не входим в подробный разбор этой пьесы и не отмечаем лучших стихов ее, предоставляя это самим читателям. Любовь к природе, сочувствие к ней, полное понимание ее и уменье мастерски воспроизводить ее многообразные явления,—вот главные черты таланта г. Ф. Т. Он с полным правом и с полным сознанием мог обратиться к непонимающим и неумеющим ценить природу с следующими энергическими стихами (целиком приведено—«Не то, что мните вы, природа»).

Да, мы верим, что автору этого стихотворения понятен и смысл и язык природы....

Другой род стихотворений, встречаемых у г. Ф. Т., носит на себе легкий, едва заметный оттенок иронии, напоминающий — сказали бы мы — Гейне, еслиб не знали, что Гейне под пером наших переводчиков явился публике в самом непривлекательном виде. Как бы то ни было, мы просим, при чтении следующих ниже стихотворений, вспомнить, что они писаны около пятнадцати лет назад, когда еще ни о самом Гейне, ни о подражателях ему в русской литературе не было и слуху (следуют: «С какою негою», «И гроб опущен уж в могилу», «Итальянская вилла»).

Поэтическое достоинство приведенных нами стихотворений несомненно: оно не утратилось в десять слишком лет— это лучшая похвала им.

Переходим теперь к стихотворениям, в которых преобладает мысль (приведены: «Silentium», «Как птичка раннею зарею»).

Последнее стихотворение, по глубине мысли и прекрасному ее изложению, лучше двух предыдущих, которые впрочем имеют свои очевидные достоинства. Грустная мысль, составляющая его содержание, к сожалению, сознается не всеми «пережившими свой век» с таким благородным самоотвержением: в этом отношении мы можем только указать на другого замечательного нашего поэта, князя П. А. Вяземского, у которого встречается подобное стихотворение, также прекрасное и дышащее таким же благородным и грустным сознанием.

Вот еще стихотворение г. Ф. Т., вылившееся, как видно, в минуту печального раздумья («Как над горячею золой»).

Грусть, выраженная здесь, понятна. Она не чужда ка-

ждому, кто чувствует в себе творческий талант. Поэт, как и всякий из нас, прежде всего человек. Тревоги и волнения житейские касаются также и его, и часто более, чем всякого другого. В борьбе с жизнью, с несчастьем, он чувствует, как постепенно талант его слабеет, как образы, прежде яркие, бледнеют и исчезают, — чувствует, что прошедшего не воротишь, сожалеет, — и грусть его разрешается диссонансом страдания. Но каждый делает столько, сколько суждено было ему сделать. И если обстоятельства помешали ему вполне развить свой талант, право на благодарность и за то, что он сделал, есть его неот'емлемое достояние. Немного написал г. Ф. Т., но имя его всегда останется в памяти истинных ценителей и любителей изящного, на ряду с воспоминаниями нескольких светлых минут, испытанных при чтении его стихотворений. История литературы также не должна забыть этого имени, которому волею судеб более десяти лет не было отдано должной справедливости. И если наша слабая попытка извлечь из мрака забвения или неизвестности несколько имен и произведений, достойных лучшей участи, отделить хорошее от недостойного внимания у тех поэтов, которые сами не могли быть разборчивыми судьями своего таланта—поможет будущему историку русской литературы, то мы будем вполне вознаграждены.

Чрезвычайно нравится нам у г. Ф. Т., между прочим, следующее стихотворение, странное по содержанию, но производящее на читателя неотразимое впечатление, в котором он долго не может дать себе отчета». («Душа моя—элизиум теней»).

В заключение Некрасов приводит следующие стихотворения Тютчева: «В душном воздухе молчанье», «Дева, дева, что волнует», «Через ливонские я проезжал поля», «О чем

ты воешь, ветр ночной», «Душа хотела б быть звездой», «Так здесь то суждено нам было» и говорит:

«Во всех этих стихотворениях есть или удачная мысль, или чувство, или картина, и все они выражены поэтически, как умеют выражаться только люди даровитые. Несмотря на заглавие наших статей (Русские «второстепенные» поэты), мы решительно относим талант г. Ф. Т-ва к русским первостепенным поэтическим талантам и повторяем здесь только наше сожаление, что он написал слишком мало».

2

Статья **И. С. Тургенева «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева»** появилась в том же «Современнике» (1854 г., № 4, апрель). Приводим из нее все непосредственно относящееся к Тютчеву.

«Мы понимаем желание читателей насладиться гармонией стиха, обаянием мерной лирической речи; мы понимаем это желание, сочувствуем ему и разделяем его вполне. Вот почему мы не могли душевно не порадоваться собранию воедино разбросанных доселе стихотворений одного из самых замечательных наших поэтов, как бы завещанного нам приветом и одобрением Пушкина—Ф. И. Тютчева.

Мы сказали сейчас, что г. Тютчев один из самых замечательных русских поэтов, мы скажем более: в наших глазах, как оно ни обидно для самолюбия современников, г. Тютчев, принадлежащий к поколению предыдущему, стоит решительно выше всех своих собратов по Аполлону. Легко указать на те отдельные качества, которыми превосходят его более даровитые из теперешних наших поэтов: на пле-

нительную, хотя несколько однообразную, грацию Фета, на энергическую, часто сухую и жесткую страстность Некрасова, на правильную, иногда холодную живопись Майкова; но на одном г. Тютчеве лежит печать той великой эпохи, к которой он относится и которая так ярко и сильно выразилась в Пушкине; в нем одном замечается та соразмерность таланта с самим собою, та соответственность его с жизнью автора,—словом, хотя часть того, что в полном развитии своем составляет отличительные признаки великих дарований. Круг г. Тютчева не обширен—это правда, но в нем он дома. Талант его не состоит из бессвязно разбросанных частей: он замкнут и владеет собою; в нем нет других элементов, кроме элементов чисто лирических; но эти элементы определительно ясны и срослись с самой личностью автора, от его стихов не веет сочинением: они все кажутся написанными на известный случай, как того хотел Гете, то-есть они не придуманы и выросли сами, как плод на дереве, и по этому драгоценному качеству мы узнаем, между прочим, влияние на них Пушкина, видим в них отблеск его времени.

Язык г. Тютчева часто поражает читателя счастливой смелостью и почти Пушкинской красотой своих оборотов. Любопытно также наблюдать, каким обрааом зарождались в душе автора те, в сущности немногочисленные, стихотворения (их не более ста), которыми он означил пройденный свой путь. Если мы не ошибаемся, каждое его стихотворение начиналось мыслью, но мыслью, которая, как огненная точка, вспыхивала под влиянием глубокого чувства или сильного впечатления, вследствие этого, если можно так выразиться, свойства происхождения своего, мысль г. Тютчева никогда не является читателю нагою и отвлеченною, но всегда сливается с образом, взятым из мира души или при-

роды, проникается им и сама его проникает нераздельно и неразрывно. Исключительно, почти мгновенно лирическое настроение поэзии г. Тютчева заставляет его выражаться сжато и кратко, как бы окружить себя стыдливо-тесной и изящной чертой; поэту нужно высказать одну мысль, одно чувство, слитые вместе, и он большею частью высказывает их единым образом, именно потому, что ему нужно высказаться, потому, что он не думает ни щеголять своим ощущением перед другими, ни играть с ним перед самим собой. В этом смысле поэзия его заслуживает название дельной, т. е. искренней, серьезной. Самые короткие стихотворения г. Тютчева почти всегда самые удачные. Чувство природы в нем необыкновенно тонко, живо и верно; но он, говоря словом, не совсем принятым в хорошем обществе, не выезжает на нем, не принимается компоновать и раскрашивать свои фигуры. Сравнения человеческого мира с родственным ему миром природы никогда не бывают натянуты и холодны у г. Тютчева, не отзываются наставническим тоном, не стараются служить пояснением какой-нибудь обыкновенной мысли, явившейся в голове автора и принятой им за собственное открытие. Кроме всего этого, в г. Тютчеве заметен тонкий вкус — плод многостороннего образования, чтения и богатой жизненной опытности. Язык страсти, язык женского сердца ему знаком и дается ему. Стихотворения г. Тютчева, почерпнутые им не из собственного родника, как-то: Наполеон и др., нам нравятся менее. В даровании г. Тютчева нет никаких драматических или эпических начал, хотя ум его, бесспорно, проник во все глубины современных вопросов истории.

Со всем тем популярности мы не предсказываем г. Тютчеву,—той шумящей, сомнительной популярности, которой,

вероятно, г. Тютчев нисколько не добивается. Талант его, по самому свойству своему, не обращен к толпе и не от нее ждет отзыва и одобрения; для того, чтобы вполне оценить г. Тютчева, надо самому читателю быть одаренным некоторою тонкостью понимания, некоторою гибкостью мысли, не остававшейся долго праздной. Фиалка своим запахом не разит на двадцать шагов кругом; надо приблизиться к ней, чтобы почувствовать ее благовоние. Мы, повторяем, не предсказываем популярности г. Тютчеву; но мы предсказываем ему глубокое и теплое сочувствие всех тех, которым дорога русская поэзия, а такие стихотворения, каковы «Пошли, Господь, свою отраду» и другие пройдут из конца в конец Россию и переживут многое в современной литературе, что теперь кажется долговечным и пользуется шумным успехом. Г. Тютчев может сказать себе, что он, по выражению одного поэта, создал речи, которым не суждено умереть; а для истинного художника выше подобного сознания награды нет».

3

1859-й год обогатил литературу о Тютчеве прекрасной статьей **А. А. Фета, «О стихотворениях Ф. Тютчева»**, напечатанной в журнале «Русское Слово» (№ 2-й). Вот суть этой статьи:

«Давно хотелось мне поговорить о небольшой книжке стихотворений Ф. Тютчева, появившейся в 1854 году, наделавшей столько шуму в тесных кружках любителей изящного и увы: относительно к своему достоинству, так мало еще распространенной в массе читающей публики...

Два года тому назад. В тихую, осеннюю ночь, стоял я в темном переходе Колизея и смотрел в одно из оконных от-

верстий на звездное небо. Крупные звезды пристально и лучезарно глядели мне в глаза и, по мере того, как я всматривался в тонкую синеву, другие звезды выступали передо мною и глядели на меня так же таинственно и так же красноречиво, как и первые. За ними мерцали в глубине еще тончайшие блестки и мало по малу всплывали в свою очередь. Ограниченные темными массами стен, глаза мои видели только небольшую часть неба, но я чувствовал, что оно необ'ятно и что нет конца его красоте. С подобными же ощущениями раскрываю стихотворения Ф. Тютчева. Можно ли в такую тесную рамку (я говорю о небольшом об'еме книги) вместить столько красоты, глубины, силы, одним словом поэзии. Если бы я не боялся нарушить права собственности, то снял бы дагеротипически все небо г. Тютчева с его звездами 1-й и 2-й величины, т. е. переписал бы все его стихотворения. Каждое из них—солнце, т. е. самобытный, светящий мир, хотя на иных и есть пятна; но, думая о солнце, забываешь о пятнах.

Поэтическая сила, т. е. зоркость г. Тютчева—изумительна. Он не только видит предмет с самобытной точки зрения,—он видит его тончайшие фибры и оттенки. Уж если кого-либо нельзя упрекнуть в рутинности, так это нашего поэта.

Раскрывая на удачу книгу стихотворений, как бы в подтверждение слов моих, нахожу: «Осенний вечер» («Есть в светлости осенних вечеров»).

Все стихотворение изумительно полно и выдержано, от первого до последнего слова. Одинокое, вполне Тютчевское слово: «ущерб»—ненаглядно. Два заключительных стиха являются, как будто, в виде сравнения, но это вовсе не сравнение. Нередко образ бездушной природы вызывает в

душе поэта подобие из мира человеческого, или наоборот; так у Пушкина:

Журчит во мраморе вода
. . . .
Так плачет мать во дни печали.

Или:

Живу печальный, одинокий
И жду, придет ли мой конец.
Так поздним хладом пораженный
. . . .
Трепещет запоздалый лист.

Двустишие, которым заканчивается «Осенний вечер», не быстрый переход от явления в мире неодушевленном к миру человеческому, а только новый оттенок одухотворенной осени. Ее пышная мантия только полнее распахнулась с последними шагами, но под нею все время трепетала живая человеческая мысль. То же самое и в следующем за тем стихотворении:

Что ты клонишь над водою...

По свойству своего таланта, г. Тютчев не может смотреть на природу без того, чтобы в душе его единовременно не возникала соответственная яркая мысль. До какой степени природа является перед ним одухотворенной, лучше всего выражает он сам:

Не то, что мните вы, природа—
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Не продолжая выписки, заметим, что не только каждое стихотворение, почти каждый стих нашего поэта дышит какою-нибудь тайной природы, которую она ревниво скрывает

от глаз непосвященных. Какою эдемскою свежестью веет его весна и юг! Каким всесильным чародеем проникает г. Тютчев в заветную область сна и как это суб'ективнейшее явление отделено у него от человека, и мощно выдвинуто на всеобщее уразумение. Прислушайтесь к тому, что ночной ветер напевает нашему поэту,—и вам станет страшно. Но всего не перечтешь. Называя г. Тютчева поэтом мысли, мы указали только на главное свойство его природы, но она так богата, что и другие ее стороны не менее блестящи. Кроме глубины, создания его отличаются неуловимой тонкостью и грацией, вернейшим доказательством силы. Не даром Гете говорит:

Willst du schon zierlich erscheinen, und bist nicht sicher? Vergebens!
Nur aus vollendeter Kraft blicket die Anmuth hervor.
Ты не тверд, а хочешь казаться изящным? Напрасно!..
Только из замкнутых сил тонкая прелесть сквозит.

Все живое состоит из противоположностей; момент их гармонического соединения неуловим, и лиризм, этот цвет и вершина жизни, по своей сущности, навсегда останется тайной. Лирическая деятельность тоже требует крайне противоположных качеств, как например безумной слепой отваги и величайшей осторожности (тончайшего чувства меры). Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик. Но рядом с подобной дерзостью в душе поэта должно неугасимо гореть чувство меры. Как ни громадна лирическая смелость,—скажу более,—дерзновенная отвага г. Тютчева—не менее сильно в нем и чувство меры. До какой бы степени ни поразили вас сразу смелый, неожиданный эпитет или бойкая метафора нашего поэта, не верьте

первому впечатлению и знайте наперед, что это яркие краски живых цветов; они блестящи, но никогда между собой не враждуют. Присмотритесь попристальнее к поразившей вас метафоре, и она в глазах ваших начнет таять и сливаться с окружающей картиной, придавая ей новую прелесть. И пусть в следующей пьесе:

Сияет солнце, воды блещут,
На всем улыбка, жизнь во всем;
Деревья радостно трепещут,
Купаясь в небе голубом.
Поют деревья, блещут воды,
Любовью воздух растворен,
И мир, цветущий мир природы,
Избытком жизни упоен.
Но и в избытке упоенья
Нет упоения сильней
Одной улыбки умиленья
Измученной души твоей.

Деревья поют у г. Тютчева. Не станем, подобно классическим комментаторам, об'яснять это выражение тем, что тут поют сидящие на деревьях птицы,—это слишком рассудочно; нет! нам приятнее понимать, что деревья поют своими мелодическими весенними формами, поют стройностью, как небесные сферы. За то каким скачком рвется вперед, со второго куплета, лиризм стихотворения, и без того погружающего читателя с первого полустишия в море весеннего восторга. Стихотворение—все чувство, все восторг, но и в нем, при последнем куплете, поэт не ушел от вечной рефлексии. Чувствуешь, что и в минуту наслаждения природой, он ясно видит причину своего восторга.

Таким же магическим толкователем тончайших чувств является г. Тютчев в стихотворениях „Еще томлюсь тоской желаний“ или „Тихой ночью поздним летом“ или „Не остыв-

шая от зною", хотя в последнем присутствие мысли ощутительней, чем в первых двух.

Искусство ревниво; оно в одном и том же произведении не допускает двух равновесных центров. Хотя мысль и чувство постоянно сливаются в художественном произведении, но властвовать раздельно и единовременно всей пьесой они не могут. Богатый тем и другим элементом, г. Тютчев, как строгий художник, почти никогда не позволяет произведению падать под избытком содержания.

Мы уже заметили, что художественность формы—прямое следствие полноты содержания. Самый вылощенный стих, выливающийся под пером стихотворца—не поэта, даже в отношении внешности, не выдерживает и отдаленного сравнения с самым, на первый взгляд, неуклюжим стихом истинного поэта. Фауст написан стихами ломанными, языком, нередко изнасилованным, а посмотрите какой стальной силой отзываются эти дубинные стихи (Knüttelverse). Поэты—художники не выдумывают красоты своих стихов, как истинные красавицы не придумывают чарующей улыбки. Не одного Сальери приводил этот факт в отчаяние,—но тут нечем помочь беде. А предосадно. Один трудится, пыхтит, и ничего не выходит, или выходит безобразие, а другой, как будто шутит, а

Пошла шутка в дело.

Никто, ни даже сам г. Тютчев, не скажет ни за что, почему у него в стихе:

„Гроза прошла—еще, курясь, лежал!

Цезура, как гильотина, отрубила один образ от другого? Почему его стихи то—как:

Чьи-то грозные зеницы
Загорались над землею,

то, подаваясь вперед медленными, легко—отрывистыми вздо-хами:

А это тень, бегущая от дыма...—

разрешаются женским, нежным, как призрак, разлетающимся звуком: ма? Также гармонически сливаются в стихотворении Последняя любовь» два различных размера:

О как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...

и не отыскивал поэт тех мужественных созвучий, которые так энергично разбивают последний стих,

Ах, и не в эту землю я сложил
То, чем я жил и чем я дорожил.

Мастерство с первого стиха вводить читателя в недра поэтического содержания у г. Тютчева общее со всеми истинными поэтами. Незнакомого лирического стихотворения нечего читать дальше первого стиха: и по нем можно судить, стоит ли продолжать чтение.

Выписываем еще стихотворение, единственно потому, что оно наглядно об'ясняет сказанное в предыдущих параграфах. (Приведено стих. «Итальянская вилла»).

Как-то странно видеть замкнутое стихотворение, начинающееся союзом и как бы указывающее на связь с предыдущим и сообщающее пьесе отрывочный характер. Действительно, у этого стихотворения есть предыдущее—целый обаятельный мир, связанный со звуком: Италия...

Есть речи,—значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Этот-то полуволшебный мир веял вокруг поэта, когда он приступал к стихотворению,—и художник понял, что отдаться этому миру вполне можно только в ущерб вилле, а тонкий, эфирный на него намек посредством частицы *и* окружит виллу атмосферой сладостных грез. Совладав так мастерски с содержанием в начале стихотворения, поэт под конец увлекся своим господствующим элементом—рефлексиею. Весь поэтический образ стихотворения подложен чувством, хотя и принадлежащим человеку мысли. Допустим, что нельзя было остановиться на прелестном образе:

Фонтан журчал; недвижимо и стройно
Соседний кипарис глядел в окно.

Читатель вправе спросить: чтож из этого? Следовало кончить, но не новым элементом мысли, которая могла бы послужить содержанием отдельному стихотворению, а здесь, представляя новый разнородный центр, дает концу пьесы вид придуманности, хотя он вовсе не придуман, а вытек из рефлективной натуры поэта, с которой он на этот раз не совладал и не отодвинул от себя собственного я, так же мощно, как это он делает везде. Разбираемое нами стихотворение великого мастера—многозначительный урок с одной стороны для лирических поэтов, сознающих свое дело, а с другой для критиков, бессознательно и настойчиво требующих содержания. Художественная прелесть этого стихотворения погибла от избытка содержания. Новое содержание: новая мысль, независимо от прежней, едва заметно трепетавшей в глубине картины, неожиданно всплыла на первый план и закричала на нем пятном. Но что значит подобная дисгармония в одном или двух стихотворениях поэта, у которого самые недостатки происходят от избытка силы. Повторяем:

пусть под вдохновенным пером его попадаются устарелые формы, в роде с'единять, вспоминанья; облак вместо облако, листье вместо листа (хотя слово листье очень ловко) и неверные ударения в роде: зàвесу вместо заве́су, змеи вместо зме́и,—все это мелочь, на минуту неприятно поражающая слух, но неспособная набросить и малейшей тени на художественную прелесть стихотворений г. Тютчева.

Решаюсь выписать еще одно стихотворение:

Сон на море.

И море и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн
И две беспредельности были во мне—
И мной своевольно играли оне.
Кругом, как кимвалы, звучали скалы
И ветры свистели и пели валы.
Я в хаосе звуков летал оглушен;
Над хаосом звуков носился мой сон...
Болезненно—яркий, волшебно—немой,
Он веял легко над гремящею тьмой,
В лучах огневицы развил он свой мир,
Земля зеленела, светился эфир...
Сады, лабиринты, чертоги, столпы...
И чудился шорох несметной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц:
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц,—
По высям творенья я гордо шагал,
И мир подо мною недвижно сиял...
Сквозь грезы, как дикий волшебника вой,
Лишь слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.

Разве не гигантское вдохновение, не могучее искусство создали эти образы. Не могу воздержаться от задорного во-

проса, у кого из современных лириков такая мощь? У Гербеля, что ли, расходящегося десятками тысяч экземпляров. «За то,—заметят мне,—его все понимают».—Великая заслуга! да что там понимать-то.—Действительно, первое условие художественности—ясность; но ясность ясности рознь. Не потому г. Тютчев могучий поэт, что играет отвлеченностями, как другой играет образами, а потому, что он в своем предмете так же уловляет сторону красоты, как другой уловляет ее в предметах более наглядных. А что мир отвлеченный не всем равно доступен, а для иных и вовсе не существует, по крайней мере, сознательно,—это другое дело. Скажите или растолкуйте неграмотному самое слово: отвлеченность, поймет ли он в чем дело? А между тем, это понятие ничуть не туманнее понятия о репе.

Немалого требует г. Тютчев от читателей, обращаясь к их сочувствию. До сих пор большинство не отозвалось, да и не могло отозваться на его голос. Но тем больше славы поколению, породившему таких поэтов, как Пушкин, Тютчев и Кольцов, и тем больше части народу, к которому поэт обращается с такими высокими требованиями. Теперь за нами очередь оправдать его тайные надежды».

4

Книга **И. С. Аксакова «Федор Иванович Тютчев»**, появившаяся вскоре после смерти последнего — (Москва, 1874 г.; сначала напеч. в «Рус. Архиве»), доселе остается, быть может, самым ценным источником для изучения биографии поэта.

Наиболее спорная часть этой книги—те страницы, на которых Аксаков разбирает общественные и политические

взгляды Тютчева,—остается вне круга нашего внимания; мы ограничимся здесь лишь теми немногими страницами, где Аксаков занимается разбором и оценкой поэзии Тютчева.

«Стихи Тютчева отличаются такою *непосредственностью творчества*, которая в равной степени, по крайней мере, едва ли встречается у кого-либо из поэтов.

На вопрос: над чем вы теперь работаете, он не мог бы отвечать, подобно другим: «пишу стихи: вчера кончил стихотворение к Аглае. Сегодня доделаю «Огнедышащую Гору», имею намерение обработать в стихах такой-то сюжет». Он был поэт по призванию, которое было могущественнее его самого, но не по *профессии*. Он священнодействовал, как поэт, но не замечая, не сознавая сам своего священнодействия, не облекаясь в жреческую хламиду, не исполняясь некоторого благоговения к себе и своему жречеству. Его ум и его сердце были, повидимому, постоянно заняты, ум витал в области отвлеченных, философских или исторических помыслов; сердце искало живых ощущений и треволнений; но прежде всего и во всем он был поэт, хотя собственных стихов он оставил по себе, сравнительно, и не очень много. Стихи у него были не плодом *труда*, хотя бы и вдохновенного, но все же труда, подчас даже усидчивого у иных поэтов. Когда он их писал, то писал невольно, удовлетворяя настоятельной, неотвязчивой потребности, потому что он не мог их не написать: вернее сказать, он их не писал, а только *записывал*. Они не *сочинялись*, а *творились*. Они сами собой складывались в его голове, и он только *ронял* их на бумагу, на первый попавшийся лоскуток. Если же некому было припрятать к месту оброненное, подобрать эти лоскутки, то они нередко и пропадали.

Само собой разумеется, что при подобном процессе творчества, Тютчев не способен был ничего творить в обширном размере. Поэтому самые лучшие его стихотворения—короткие; они цельны, словно отлиты из одного куска чистого золота. В его таланте, как уже и замечено было нашими критиками, нет никаких эпических или драматических начал. Его поэзия, как выразились бы немецкие эстетики, вполне *суб'ективна*; ее повод—всегда в личном ощущении впечатления и мысли; она неспособна отрешаться от личности поэта и гостить в области вымысла, в мире внешнем, отвлеченном, чуждом его личной жизни. Он ничего не выдумывал, а только *выражался*. Он не был тем маэстро, тем художником—*хозяином* в поэзии, каким, например, является Пушкин, этот полновластный распорядитель звуков и форм, разнообразно направлявший силы своего гения по указанию своей свободной поэтической воли, умевший творить не одним мгновенным наитием вдохновения, но и медленным вдохновенным трудом. Да и у всех поэтов, рядом с непосредственным творчеством, слышится *делание*, обработка. У Тютчева деланного нет ничего: все творится. Оттого нередко в его стихах видна какая-то внешняя небрежность: попадаются слова устарелые, вышедшие из употребления, встречаются неправильные рифмы, которые, при малейшей наружной отделке, легко могли бы быть заменены другими.

Что особенно пленяет в поэзии Тютчева, это ее необыкновенная грация, не только внешняя, но еще более внутренняя. Все жестокое, резкое и яркое чуждо его стихам; на всем художественная мера; все извне и изнутри, так сказать, обвеянно изяществом. Самое вещество слова как бы теряет свою вещественность,—которою именно так любят

играть и щеголять некоторые поэты, которая составляет своего рода специальную красоту в стихах, например, Языкова. Вещество слова у Тютчева как-то одухотворяется, становится прозрачным. Мыслью и чувством трепещет вся его поэзия. Его музыкальность не в одном внешнем гармоническом сочетании звуков и рифм, но еще более в гармоническом соответствии формы и содержания.

Прежде всего, что бросается в глаза в поэзии Тютчева и резко отличает ее от поэзии ее современников в России— это совершенное отсутствие грубого эротического содержания. Она не знает их «разымчивого хмеля», не воспевает ни «цыганок», ни «наложниц», ни ночных оргий, ни чувственных восторгов, ни даже нагих женских прелестей; в сравнении с другими поэтами одного с ним цикла, его муза может назваться не только скромною, но как бы стыдливою. И это не потому, чтобы психический элемент—«любовь»—не давал никакого содержания его поэзии. Напротив. Мы уже знаем, какое важное значение в его судьбе, параллельно с жизнью ума и высшими призывами души, должно быть отведено внутренней жизни сердца, — и эта жизнь не могла не отразиться в его стихах. Но она отразилась в них только тою стороною, которая одна и имела для него цену,—стороною чувства, всегда искреннего, со всеми его последствиями: заблуждением, борьбой, скорбью, раскаянием, душевною мукою. Ни тени цинического ликования, нескромного торжества, ветренной радости: что-то глубоко - задушевное, тоскливо - немощное звучит в этом отделе его поэзии.

Но самое важное отличие и преимущество Тютчева, это всегда неразлучный с его поэзией элемент мысли. Мыслью, как тончайшим эфиром, обвеяно и проникнуто почти ка-

ждое его стихотворение. Большею частью мысль и образ у него нераздельны. Мыслительный процесс этого сильного ума, свободно проникавшего во все глубины знания и философских соображений, в высшей степени замечателен. Он, так сказать, *мыслил образами*. Это доказывается не только его поэзией, но даже его статьями, а также его изречениями или так называемыми mots или bons mots, которыми он прославился в свете едва ли не более, чем стихами. Все эти mots были не что иное, как ироническая, тонкая, нередко глубокая мысль, отлившаяся в соответственном художественном образе.

У Тютчева поэзия была тою психическою средою, сквозь которую преломлялись сами собой лучи его мысли и проникали на свет Божий уже в виде поэтического представления. У него не то, что *мыслящая* поэзия,—а поэтическая мысль; не чувство рассуждающее, мыслящее, — а мысль чувствующая и живая. От этого внешняя художественная форма не является у него надетою на мысль, как перчатка на руку, а срослась с нею, как покров кожи с телом, сотворена вместе и одновременно, одним процессом: это сама плоть мысли».

5

Цитируемая нами статья **Вл. Соловьева «О поэзии Ф. И. Тютчева»** появилась спустя 20 с лишним лет после книги Ив. Аксакова (в «Вестнике Европы», 1895, апрель). В. С. Соловьев сильно углубил взгляд на Тютчева и выдвинул на первый план действительно существенные черты в творчестве последнего.

В статье Соловьева Тютчев впервые определенно рассматривается, как поэт Космоса и Хаоса, а не только, как гениальный изобразитель «картинок природы».

«Говорят, что в недрах русской земли скрывается много естественных богатств, которые остаются без употребления и даже без описания. Это может, конечно, об'ясняться огромным об'емом страны. Более удивительно, что в небольшой области русской литературы тоже существуют такие сокровища, которыми мы не пользуемся и которых почти не знаем. Самым драгоценным из этих кладов я считаю лирическую поэзию Тютчева. Этого несравненного поэта, которым гордилась бы любая литература, хорошо знают у нас только немногие любители поэзии, огромному же большинству даже «образованного» общества он известен только по имени да по двум-трем (далеко не самым лучшим) стихотворениям, помещаемым в хрестоматиях или положенным на музыку. Я часто слыхал восторженные отзывы о стихотворениях Тютчева от Льва Толстого и от Фета; Тургенев в своей краткой рецензии называет Тютчева «великим поэтом»; Ап. Григорьев упоминает о нем, говоря о наших поэтах, особенно отзывчивых на жизнь природы; но специального разбора или об'яснения его поэзии до сих пор не существует в нашей литературе, хотя прошло уже более двадцати лет с его смерти. Превосходное сочинение И. С. Аксакова есть, главным образом, биография и характеристика личности и славянофильских взглядов поэта. В настоящем очерке я беру поэзию Тютчева по существу, чтобы показать ее внутренний смысл и значение.

Прежде всего бросается в глаза при знакомстве с нашим поэтом созвучие его вдохновения с жизнью природы,—совершенное воспроизведение им физических явлений, как состоя-

ний и действий живой души. Конечно, все действительные поэты и художники чувствуют жизнь природы и представляют ее в одушевленных образах; но преимущество Тютчева перед многими из них состоит в том, что он вполне и сознательно *верил* в то, что чувствовал — ощущаемую им живую красоту принимал и понимал не как свою фантазию, а как *истину*. Эта вера и это понимание стали редки в новое время,—мы не находим их даже, например, у такого сильного поэта и тонкого мыслителя, как Шиллер. В своем знаменитом стихотворении «Боги Греции» он предполагает, что природа только *была* жива и прекрасна в *воображении* древних, а на самом деле она лишь мертвая машина. Смерть эллинской мифологии была для Шиллера смертью самой природы; вместе с прекрасными богами Греции исчезла и душа мира, оставив только свою тень в художественных памятниках классической древности.

Тютчев не верил в эту смерть природы, и ее красота не была для него пустым звуком. Ему не приходилось *искать* душу мира и безответно приветствовать отсутствующую: она сама сходилась с ним и в блеске молодой весны, и в «светлости осенних вечеров», в сверканьи пламенных зарниц и в шуме ночного моря она сама намекала ему на свои роковые тайны. И без греческой мифологии мир был полон для него и величия, и красоты, и красок. В этом нет еще ничего особенного. Живое отношение к природе есть существенный признак поэзии вообще, отличающий ее от двоякой прозы: житейски-практической и отвлеченно-научной. В минуты настоящего поэтического вдохновения и Шиллер забывал, конечно, о часовом механизме и о законе тяготения— и отдавался непосредственным впечатлениям природной красоты. Но у Тютчева, как я уже заметил, важно и дорого то,

что он не только *чувствовал*, а и *мыслил*, *как* поэт — что он был *убежден* в об'ективной истине поэтического воззрения на природу. Как бы прямым ответом на Шиллеровский похоронный гимн мнимо-умершей природе служит стихотворение Тютчева:

Не то, что мните вы, природа—
Не слепок, не бездушный лик;
В ней *есть* душа, в ней *есть* свобода,
В ней *есть* любовь, в ней *есть* язык.

Вовсе не высшее *знание*, а только собственная слепота и глухота заставляют людей отрицать внутреннюю жизнь природы:

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как в потьмах.
Для них и солнца, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили,
И ночь в звездах нема была;
И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза...

Глубокое и сознательное убеждение в действительной, а не воображаемой только, одушевленности природы избавляло нашего поэта от того раздвоения между мыслью и чувством, которым с прошлого века и до последнего времени страдает большинство художников и поэтов. Его ум был вполне согласен с вдохновением: поэзия его была полна сознанной мысли, а его мысли находили себе только поэтическое, т. е. одушевленное и законченное выражение.

Убеждение в истинности поэтического воззрения на природу и вытекающая отсюда цельность творчества, гармония между мыслью и чувством, вдохновением и сознанием, составляют преимущество Тютчева даже перед таким значительным поэтом-мыслителем, как Шиллер; но, разумеется, это не есть *исключительное* преимущество нашего поэта или специфическая особенность его поэзии.

Конечно, Тютчев не рисовал таких грандиозных картин мировой жизни в целом ходе ее развития, какую мы находим у Гете, например, в стихотворении: «Vertheilet euch durch alle Regionen...»

Но и сам Гете не захватывал, быть может, так глубоко, как наш поэт, *темный корень* мирового бытия, не чувствовал так сильно и не сознавал так ясно ту *таинственную основу всякой жизни*,—природной и человеческой,—основу, на которой зиждется и смысл космического процесса, и судьба человеческой души, и вся история человечества. Здесь Тютчев действительно является вполне своеобразным и если не единственным, то наверное самым сильным во всей поэтической литературе. В этом пункте—ключ ко всей его поэзии, источник ее содержательности и оригинальной прелести.

«Олимпиец» Гете обнимал своим орлиным взглядом величие и красоту живой вселенной. Он знал, конечно, что этот светлый, дневной мир не есть первоначальное, что под ним скрыто совсем другое и страшное, но он не хотел останавливаться на этой мысли, чтобы не смущать своего олимпийского спокойствия. Но при таком одностороннем взгляде *смысл* вселенной не может быть раскрыт во всей своей глубине и полноте. Наш поэт одинаково чуток к обеим сторонам действительности; он никогда не забывает, что весь

этот светлый, дневной облик живой природы, который он так умеет чувствовать и изображать, есть пока лишь «златотканный покров», расцвеченная и позолоченная вершина, а не основа мироздания:

На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной
Покров наброшен златотканный
Высокой волею богов.
День—сей блистательный покров—
День—земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!
Но меркнет день, настала ночь,—
Пришла—и с мира рокового
Ткань благодатную покрова,
Собрав, отбрасывает прочь.
И *бездна* нам обнажена,
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами:
Вот отчего нам ночь страшна.

«День» и «ночь», конечно, только видимые символы двух сторон вселенной, которые могут быть обозначены и без метафор. Хотя поэт называет здесь темную основу мироздания «бездной *безымянной*», но ему сказалось и собственное ее имя, когда он прислушивался к напевам ночной бури:

О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумный!
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке,
И роешь и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки.

О, *страшных* песен сих не пой
Про *древний хаос*, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди
И с *беспредельным* жаждет слиться.
О бурь уснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!.....

Хаос, т. е. отрицательная беспредельность, зияющая бездна всякого безумия и безобразия, демонические порывы, восставшие против всего положительного и должного—вот глубочайшая сущность мировой души и основа всего мироздания. Космический процесс вводит эту хаотическую стихию в пределы всеобщего строя, подчиняет ее разумным законам, постепенно воплощая в ней идеальное содержание бытия, давая этой дикой жизни смысл и красоту. Но и введенный в пределы всемирного строя, хаос дает о себе знать мятежными движениями и порывами. Это присутствие хаотического, иррационального начала в глубине бытия сообщает различным явлениям природы ту свободу и силу, без которых не было бы и самой жизни и красоты. Жизнь и красота в природе—это борьба и торжество света над тьмою, но этим необходимо предполагается, что тьма есть действительная сила. И для красоты вовсе не нужно, чтобы темная сила была уничтожена в торжество мировой гармонии: достаточно, чтобы светлое начало овладело ею, подчинило ее себе, до известной степени воплотилось в ней, ограничивая, но не упраздняя ее свободу и противоборство. Так безбрежное море в своем бурном волнении *прекрасно*, как проявление и образ мятежной жизни, гигантского порыва стихийных сил, введенных, однако, в незыблемые пределы, не могущих расторгнуть общей связи мироздания и

нарушить его строя, а только наполняющих его движением, блеском и громом:

Как хорошо ты, о, море ночное,
Здесь лучезарно, там сизо-черно!
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит и дышет и блещет оно.
На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движение, грохот и гром...
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо ты в безлюдьи ночном!
Зыбь ты великая, зыбь ты морская!
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты.

Хаос, т. е. само безобразие, есть необходимый фон всякой земной красоты, и эстетическое значение таких явлений, как бурное море или ночная гроза, зависит именно от того, что «под ними хаос шевелится». В изображении всех этих явлений природы, где яснее чувствуется ее темная основа, Тютчев не имеет себе равных.

Не остывшая от зноя,
Ночь июльская блистала,
И над тусклою землею
Небо полное грозою
От зарниц все трепетало.
Словно тяжкие ресницы
Разверзалися порою,
И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
Загорались над землею.

Этот поразительный образ гениально заканчивается поэтом в другом стихотворении:

. . . .

Одни зарницы огневые,

Воспламеняясь чередой,
Как *демоны глухонемые*,
Ведут беседу меж собой;
Как по условленному знаку
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мраку
Поля и дальние леса.
И вот опять все потемнело,
Все стихло в чуткой темноте,
Как бы *таинственное дело*
Решалось там на высоте...

Частные явления суть знаки общей сущности. Поэт умеет читать эти знаки и понимать их смысл. «Таинственное дело», заговор «глухонемых демонов»—вот начало и основа всей мировой истории. Положительное, светлое начало космоса сдерживает эту темную бездну и постепенно преодолевает ее. В последнем, высшем произведении мирового процесса—человеке—внешний свет природы становится внутренним светом сознания и разума,—идеальное начало вступает здесь в новое, более глубокое и тесное сочетание с земною душою; но соответственно этому глубже раскрывается в душе человека и противоположное демоническое начало хаоса. Ту темную основу мироздания, которую он чувствует и видит во внешней природе под «златотканным покровом» космоса, он находит и в своем собственном сознании,—

И в чуждом, неразгаданном, ночном
Он узнает *наследье роковое*.

Главное проявление душевной жизни человека, открывающее ее смысл, есть любовь, и тут опять наш поэт сильнее и яснее других отмечает ту самую демоническую и хаотическую основу, к которой он был чуток в явлениях

внешней природы. Этому вовсе не противоречит прозрачный одухотворенный характер Тютчевской поэзии. Напротив, чем светлее и духовнее поэтическое создание, тем глубже и полнее, значит, было прочувствовано и пережито то темное, *не*—духовное, что требует просветления и одухотворения.

Жизнь души, сосредоточенная в любви, есть по основе своей *злая* жизнь, смущающая мир прекрасной природы:

Что это, друг? Иль злая жизнь не даром,—
Та жизнь—увы!—что в нас тогда текла,
Та злая жизнь с ее мятежным жаром
Через порог заветный перешла?

Эта злая и горькая жизнь любви убивает и губит:

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей.

И это не случайность, а роковая необходимость земной любви, ее *предопределение*:

Любовь, любовь,—гласит преданье,—
Союз души с душой родной,
Их с'единенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И поединок роковой.
И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец.

Для Тютчева Россия была не столько предметом любви, сколько веры—«в Россию можно только верить». Личные чувства его к родине были очень сложны и многоцветны.

Было в них даже некоторое отчуждение, с другой стороны—благоговение к религиозному характеру народа: «всю тебя, земля родная,—в рабском виде Царь Небесный—исходил благословляя»,—бывали в них, наконец, минутные увлечения самым обыкновенным шовинизмом.

Тютчев не любил Россию той любовью, которую Лермонтов называет почему-то «странною». К русской природе он скорее чувствует антипатию. «Север роковой» был для него «сновиденьем безобразным»; родные места он прямо называет *не милыми:*

Итак, опять увиделся я с вами,
Места не милые, хоть и родные,
Где мыслил я и чувствовал впервые.
. . . .
Ах, нет! Не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем,—
Не здесь расцвел, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной!
Ах, и не в эту землю я сложил
То, чем я жил и чем я дорожил...

Значит, его вера в Россию не основывалась на непосредственном органическом чувстве, а была делом сознательно выработанного убеждения. Первое, еще неопределенное, но зато высоко-поэтическое выражение этой веры он дал еще в молодости—в прекрасном стихотворении «На взятие Варшавы». В своей борьбе с братским народом Россия руководилась не зверскими инстинктами, а только необходимостью «державы целость соблюсти», для того, чтобы—

Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещенья
Единомысленную рать.

И это высшее сознанье
Вело наш доблестный народ,
Путей небесных оправданье
Он смело на себя берет.
Он чует над своей главою
Звезду в незримой высоте
И неуклонно за звездою
Идет к таинственней мечте.

Эта вера в высокое призвание России возвышает самого поэта над мелкими и злобными чувствами национального соперничества и грубого торжества победителей. Необычною у патриотических певцов гуманностью дышат заключительные стихи, обращенные к Польше:

Ты ж, братскою стрелой пронзенный,
Судеб свершая приговор,
Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер.
Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода
Как феникс возродится в нем.

Позднее—вера Тютчева в Россию высказывалась в пророчествах более определенных. Сущность их в том, что Россия сделается всемирною христианскою монархией,—

... и не прейдет во век,
Как-то провидел Дух и Даниил предрек.

Одно время условием для этого великого события он считал соединение Восточной церкви с Западною чрез соглашение царя с папой, но потом отказался от этой мысли, находя, что папство несовместимо со свободой совести, т. е. с самою существенною принадлежностью христианства.

Отказавшись от надежды мирного соединения с Западом, наш поэт продолжал предсказывать превращение России во всемирную монархию, простирающуюся, по крайней мере, до Нила и до Ганга, с Царьградом, как столицей. Но эта монархия не будет, по мысли Тютчева, подобием звериного царства Навуходоносора,—ее единство не будет держаться насилием. По поводу известного изречения Бисмарка, Тютчев противопоставляет друг другу *два единства*.

«Единство,—возвестил оракул наших дней,—
Быть может спаяно железом лишь и кровью»;
Но мы попробуем спаять его любовью,—
А там увидим, что прочней...»

6

А. Л. Волынский в своей «Книге Великого Гнева» (Спб., 1904) в немногих словах отметил самые существенные черты лирики Тютчева.

«Тютчев поэт ночных откровений, поэт небесных и душевных бездн. Он как бы шепчется с тенями ночи, ловит их смутную жизнь и передает ее без всяких символов, без всякой романтики, в тихих, трепетных словах. Иногда эти слова производят неожиданное впечатление в русской речи. Откуда они? Их не было в языке Пушкина. Утро, день должны говорить о себе языком Пушкина—ясным, отчетливым, так сказать, индивидуализирующим предметы, потому что в дневном свету все очерчено в своей разграниченности, в своих контурах. Но вот настали сумерки, вечер, ночь: «Тени сизые смесились, цвет поблекнул, звук уснул, жизнь, движенья разрешились в сумрак зыбкий, в дальний гул». Предметы потеряли свою отчетливость, оде-

лись общим покровом теней, то хмурых, то нежных, и чем гуще тени, чем глубже мрак, тем цельнее мир, тем более чувствуется его единство, его действительная природа, его хаос, его метафизика. Ночных впечатлений нельзя передать языком Пушкина так, как они передаются языком Тютчева. Пушкин превращает хаос в конкретность, мистику мира в эмпиризм мира, а Тютчев, наоборот, все эти конкретности, все эти эмпиризмы превращает в хаос, в мистику. Пушкин творит, Тютчев растворяет. Вот почему язык Тютчева, в отличие от Пушкинского языка, так богат составными словами, новыми, неожиданными эпитетами, которые дают уже не яркие краски, а зыбкие линии и мутные оттенки. Это не декадентство восприятий, сквозь напряженное и изнуренное личное, суб'ективное начало, а созерцание мира в его ночной стихийности, в его хаотически—божественной правде. Что за слова, что за намеки! «Вот тихоструйно, тиховейно, как ветерком занесено, дымно-легко, мглисто-лилейно вдруг что-то порхнуло в окно». Так описывает Тютчев первый трепет утреннего света, первые веяния того «блистательного покрова» дня, который скроет от глаз глубокие бездны ночного неба. Каждое слово в этих строках есть почти волшебный намек, и хотя предмет не вычерчивается полностью, он уже чувствуется в своем движении, в своих колебаниях, в своем медленном, чуть заметном росте. В ту минуту, когда он уже весь готов, весь определился, поэт оставляет его, потому что здесь уже начинается день, с его призрачными индивидуальностями, с его правдоподобными химерами, основанными на его отчетливых, но, по существу, условных и ошибочных восприятиях. Жизнь человеческая об'ята снами, и светлый день именно сон, от которого мы пробуждаемся в ночь, в смерть. Такова поэзия и философия Тютчева».

А. Г. Горнфельд в статье «**На пороге двойного бытия**», появившейся в 100-летнюю годовщину со дня рождения Тютчева (1903 года), подверг детальному рассмотрению двойственность, которая порой столь ясно слышится в поэзии Тютчева. Кроме того, и вообще его статья богата дельными замечаниями, как, напр., брошенная вскользь мысль о возможном влиянии Шеллинга на философское мировоззрение Тютчева.

Вот наиболее существенные места из этой статьи.

«Едва ли у какого поэта всеохватывающее желание слиться с природой, раствориться в ней до потери личности, до небытия получало более яркое и настойчивое выражение, чем у Тютчева.

Игра и жертва жизни частной,
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан.
Приди—струей его эфирной
Омой страдальческую грудь
И жизни божески—всемирной
Хотя на миг причастен будь.

На миг,—это не случайно. Только на миг можно испытать это совершенно неопределимое чувство.

Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой.
Все во мне—и я во всем.

И поэт с напряженным прозрением находит подходящие формы для уяснения этого состояния:

Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,

Тихий, томный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства мглой самозабвенья
Переполни через край,
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай...

Так проникнуться физическим самоощущением, чтобы почувствовать себя неотделимою частью природы,—вот что удавалось Тютчеву более, чем кому-либо. Этим чувством и питаются его замечательные «описания» природы, или, вернее, ее отражений в душе поэта. Среди его произведений они довольно многочисленны и между ними есть стихотворения различной ценности; но несколько образцов среди них—и не из самых известных—могут стать наравне с наивысшими образцами лирического воспроизведения природы. Напомним лишь немногие стихотворения, знакомые всякому с детства по мертвящим страницам хрестоматии и лишь много позже воскрешаемые самостоятельной душевной жизнью, наполняющею их живым содержанием лично пережитого: «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая»), «Весенние воды» («Еще в полях белеет снег»), «Не остывшая от зною», «Тихой ночью, поздним летом». Но менее известны, хотя столь же своеобразны, его картины осеннего настроения или хотя бы этот «Полдень»:

Лениво дышет полдень мглистый,
Лениво катится река,
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.
И всю природу, как туман,
Дремота жаркая об'емлет,
И сам теперь великий пан
В пещере нимф спокойно дремлет.

Элементарная простота этого стихотворения сообщает ему действие безотносительно-стихийное. Читателя вслед за поэтом охватывает это бездеятельное, насквозь физическое—даже не настроение—состояние. Поэт как бы добился своего: «вкусил уничтожения» своей личности, «смешался с дремлющим миром», подобно льдине, еще недавно своеобразно индивидуальной, потерял свою индивидуальность в весенних водах.

Это последнее сравнение взято из стихотворения Тютчева, которое показывает, что это ощущение потери личности было для него не только блаженным физическим состоянием, но имело связь с одним из основных элементов его мировоззрения: с взглядом на человеческую личность. Исследование, еще не произведенное, выяснит связь этого воззрения Тютчева с ходячими учениями немецкой философии, популярными в эпоху его пребывания за границей, знаменательно, например, знакомство с Шеллингом. Во всяком случае стихотворение это, которое, несмотря на обилие панегирических эпитетов в нашей характеристике, должно назвать замечательным, дает ясное представление о воззрении поэта на сущность индивидуальности и, быть может, даже должно считаться ключом к его философии. По склону речных вод, вновь оживших весною, плывут друг за другом льдины; они кажутся разнообразными; одни блистают радужно на солнце, другие проходят мимо нас в ночной темноте. Но судьба их одна:

Все вместе—малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все безразличны, как стихия,
Сольются с бездной роковой...

Вот что было для Тютчева образом человеческой личности:

О, нашей мысли, обольщенье
Ты—человеческое я.
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?

Ограниченности личности соответствует, конечно, ограниченность главного и могучего орудия, которым она стремится выйти за свои пределы,—человеческой мысли. Прообразом этого неустанного, неистребимого, но тщетного стремления является для поэта струя фонтана, бьющая вверх и неизменно падающая на землю:

О, смертной мысли водомет,
О, водомет неистощимый,
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!
Но длань незримо роковая,
Твой луч упорный преломляя
Свергает в брызгах с высоты...

Чем могли быть явления человеческой жизни для этого поэта и мыслителя, проникнутого мыслью о всемогущем самодержавии хаоса, как не роковым порождением этого хаоса? В высшем проявлении человеческого чувства—в любви—он видел «роковое слиянье и поединок роковой».

И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец.

Любовь двойственна; сильнее ее светлых, дневных элементов ее темная сторона. Прекрасен открытый, ясный взгляд любимых очей,

Но есть сильней очарованье:
Глаза потупленные ниц
В минуты страстного лобзанья,
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огнь желанья.

Любовь не спасает, не возвышает, не очеловечивает;

В буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей.

Другая вершина человеческой мысли и чувства—религия—также не побеждает «темного корня бытия», а лишь борется с ним. Космос и хаос непримиримы, и там, где хаос считается основой бытия, нет места иному началу. К Божеству обращался Тютчев не раз в своей поэзии, но вера не проникала его. Он верил и не верил—и не без мысли о себе писал о нашем веке:

Он жаждет веры... но о ней не просит.

И, быть может, криком также его души «пред запертою дверью» был возглас отчаяния:

Впусти меня. Я верю, Боже мой,
Приди на помощь моему неверью.

На этом болезненно-резком и неразрешенном диссонансе мы могли бы расстаться с поэзией Тютчева: эта трагическая двойственность—такой ясный и всеоб'емлющий символ всего его творчества. И не примиряется, но как бы прикрывается она одним излюбленным настроением Тютчева. В неразрешенной трагедии бытия как бы статика его

творчества, отчаяние всегда неподвижно. Но эта трагическая беспорывность не ограничивает поэзии Тютчева. В ней есть динамика, есть порыв; высшая красота ее в молитвенно-созерцательном движении ввысь.

Тютчев любил всю природу во всей ее прелести и чистоте, правде и разнообразии. Но был один образ, к которому он обращался особенно охотно, то явно символизуя в нем свое глубочайшее порывание, то непосредственно изображая пейзаж, всегда захватывавший его мысль; это—картина горных вершин. Сидя в альпийской долине, он неизменно подымал свой взгляд вверх и видел:

А там, в торжественном покое,
Разоблаченная с утра,
Сияет Белая гора,
Как откровенье неземное...

И, наконец, не отрывая взгляда от «недоступных громад» с их «непорочными снегами» и отблеском полета ангелов, он связывал с ними свое непреходящее и неутолимое стремление ввысь:

Хоть я и свил гнездо в долине,
Но чувствую порой и я,
Как животворно на вершине
Бежит воздушная струя.

И с этим взором, неизменно и благоговейно обращенным ввысь, пребывает всегда образ Тютчева в нашей мысли. В конце концов, лучшим наследием, переданным нам в его лирике, остается то, что всегда составляет лучший нравственный вывод из всякого истинно художественного и истинно филисофского произведения, неумолкающее увещание: «горé имеем сердца».

И поэзия Тютчева дорога нам именно тем внутренним смыслом, тем «души высоким строем», который он сумел так хорошо подметить и определить в жизни и творчестве другого поэта:

И этот-то души высокий строй,
Создавший жизнь его, проникший лиру,
Как лучший плод, как лучший подвиг свой
Он завещал взволнованному миру».

8

В 1911 г. **В. Ф. Саводник** выпустил в свет обстоятельную книгу «**Чувство природы в поэзии** Пушкина, Лермонтова и **Тютчева**» (Москва), из которой приводим несколько отрывков.

«Если по силе развития чувства природы, с ним можно еще сопоставить Лермонтова, то по глубине и тонкости его Тютчев решительно превосходит последнего, а из позднейших поэтов только Фет может в этом отношении выдержать с ним сравнение. Никто из русских поэтов, за исключением того же Фета, не сумел так близко подойти к природе, проникнуть в ее загадочную внутреннюю жизнь, ни для кого природа не открывала так охотно доступа к своим глубочайшим тайникам. И, что всего важнее, Тютчев был одарен редкой способностью чувствовать природу, как ц е л о е, ощущать позади ее внешних проявлений их скрытую, недоступную взору сущность. Такое проникновение вглубь космической жизни было возможно для Тютчева лишь потому, что он был и художником, и мыслителем в одно и то же время,— он был тем, кого древние называли vates—поэтом-пророком.

В творчестве Тютчева можно различать две струи: одну—аполлоновскую, светлую, жизнерадостную, отражающую жизнь так, как она представляется острому и ясному взору художника; другую—дионисийскую, бьющую темной и кипучей волной из самых недр души поэта, полную мистических прозрений и холодного ужаса. Вот эта вторая струя и составляет истинную основу творческой индивидуальности Тютчева, его право на совершенно особое, самостоятельное место среди русских поэтов. Откиньте произведения, в которых сказалось веяние дионисийского начала, и поэзия Тютчева лишится самого яркого признака своей самобытности. Этим мы, однако, нисколько не хотим умалить художественной ценности других его произведений, проникнутых аполлоновским духом: мы хотим только сказать, что не в них нужно искать самого существенного, самого интимного, что придает Тютчеву ярко-определенную и оригинальную физиономию, что резко выделяет его среди других русских поэтов.

Суровая и однообразная природа родного края, которую с такой любовью рисовал Пушкин, не находила сочувственного отзвука в душе Тютчева. Он искренно и глубоко любил свою родину, верил в Россию и в русский народ, душевно умилялся перед тем, «что сквозит и тайно светит» в «смиренной наготе» родной земли, — но, как поэт, он не умел ценить своеобразной прелести родной природы, ни вдохновляться ею. У Тютчева чувство природы не совпадало с чувством родины: оттого его пейзажи не носят специфически русской окраски, оттого он так охотно переносился мечтой от «безобразного севера» на «блаженный» юг, куда влекли его красота и разнообразие роскошной южной природы.

За светлым и прекрасным космосом Тютчев узрел то, что составляет его истинную основу, его извечное начало,— безо́бразный и безобразный хаос, таящийся в глубине мировой жизни, недоступный непосредственному восприятию и раскрывающийся лишь тем немногим смертным, кому ведом «инстинкт пророчески-слепой». Эти две стороны мировой жизни, два лика природы, Тютчев олицетворял в символических образах дня и ночи».

9

В. Я. Брюсов—один из лучших знатоков литературной деятельности Тютчева. Цитируемая ниже статья, написанная в 1911 г. и приложенная к двум последним изданиям сочинений Тютчева, является как бы итогом многолетних занятий Брюсова изучением жизни и творчества Тютчева. Мы приводим из нее лишь те места, где речь идет о поэтической деятельности Тютчева.

«Поэзия Тютчева принадлежит к самым значительным, самым замечательным созданиям русского духа.

Исходную точку мировоззрений Тютчева, кажется нам, можно найти в его знаменательных стихах, написанных «По дороге во Вщиж»:

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих—лишь грезою природы.
Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.

Подлинное бытие имеет лишь природа в ее целом. Человек—лишь «греза природы». Его жизнь, его деятельность—лишь «подвиг бесполезный». Вот философия Тютчева, его сокровенное миросозерцание. Этим широким пантеизмом об'ясняется едва ли не вся его поэзия.

Вполне понятно, что такое миросозерцание прежде всего приводит к благоговейному преклонению перед жизнью природы.

В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык!—

говорит Тютчев о природе. Эту душу природы, этот язык и эту ее свободу Тютчев стремится уловить, понять и об'яснить во всех ее проявлениях.

Все в природе для Тютчева живо, все говорит с ним «понятным сердцу языком», и он жалеет тех, при ком леса молчат, пред кем ночь нема, с кем в дружеской беседе не совещается гроза...

Стихи Тютчева о природе—почти всегда страстное признание в любви. Тютчеву представляется высшим блаженством, доступным человеку,—любоваться многообразными проявлениями жизни природы.

Напротив, в жизни человеческой все кажется Тютчеву ничтожеством, бессилием, рабством. Для него человек перед природой—это «сирота бездомный», «немощный» и «голый». Только с горькой насмешкой называет Тютчев человека «царем земли» («С поляны коршун поднялся»). Скорее он склонен видеть в человеке случайное порождение природы, ничем не отличающееся от существ, сознанием не одаренных. «Мыслящий тростник»—вот как определяет человека Тютчев в одном стихотворении. В другом, как бы развивая эту мысль, он спрашивает: «Что же негодует человек, сей

злак земной?» О природе, в ее целом, Тютчев говорит определенно: «в ней есть свобода», в человеческой жизни видит он лишь «призрачную свободу». В весне, в горных вершинах, в лучах звезд Тютчев видел божества, напротив, о человеке говорит он:

...не дано *ничтожной пыли*
Дышать божественным огнем.

Но человек не только—ничтожная капля в океане жизни природы, он еще в ней начало дисгармонирующее. Человек стремится утвердить свою обособленность, свою отдельность от общей мировой жизни, и этим вносит в нее разлад. Сказав о той певучести, какая «есть в морских волнах», о «стройном мусикийском шорохе», струящемся в камышах, о «полном созвучии» во всей природе, Тютчев продолжает:

Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем . . .

В другом, не менее характерном стихотворении Тютчев изображает старую «Итальянскую виллу», покинутую много веков назад и слившуюся вполне с жизнью природы. Она кажется ему «блаженной тенью, тенью елисейской»... Но едва вступил в нее вновь человек, как сразу «все смутилось», по кипарисам пробежал «судорожный трепет», замолк фонтан, послышался некий невнятный лепет... Тютчев об'ясняет это тем, что—

злая жизнь, с ее мятежным жаром,
Через порог заветный перешла.

Чтобы победить в себе «злую жизнь», чтобы не вносить в мир природы «разлада», надо с нею слиться, раствориться

в ней. Об этом определенно говорит Тютчев в своем славословии весне:

Игра и жертва жизни частной,
Приди,—отвергни чувств обман,
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан! . . .
И жизни божески-всемирной
Хотя на миг причастен будь.

В другом стихотворении («Когда что звали мы своим») он говорит о последнем утешении—исчезнуть в великом «все» мира, подобно тому, как исчезают отдельные реки в море. И сам Тютчев то восклицает, обращаясь к сумраку: «Дай вкусить уничтоженья, с миром дремлющим смешай!», то высказывает желание «всю потопить свою душу» в обаянии ночного моря, то наконец с великой простотой признается: «Бесследно все, и так легко не быть!...»

Тютчев спрашивал себя:

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник!

Он мог бы и дать ответ на свой вопрос: оттого, что человек не ищет слияния с природой, не хочет «отвергнуть чувств обман», т. е. веру в обособленность своей личности. Предугадывая учение индийской мудрости,—в те годы еще мало распространенное в Европе,—Тютчев признавал истинное бытие лишь у мировой души и отрицал его у индивидуальных «я». Он верил, что бытие индивидуальное есть призрак, заблуждение, от которого освобождает смерть, возвращая нас в великое «все». Вполне определенно говорит об этом одно стихотворение («Смотри, как на речном про-

сторе»), в котором жизнь людей сравнивается с речными льдинами, уносимыми потоком «во всеоб'емлющее море». Они все там, большие и малые, «утратив прежний образ свой», сливаются «с роковой бездной». Тютчев сам и об'ясняет свое иносказание:

О, нашей мысли обольщенье,
Ты,—человеческое «я»:
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя!

Истинное бессмертие принадлежит лишь природе, в ее целом, той природе, которой «чужды наши призрачные годы». Когда «разрушится состав частей земных», все зримое будет покрыто водами,

И Божий лик изобразится в них.

Замечательно, что в пантеистическом обожествлении природы Тютчев-поэт как бы теряет ту свою веру в личное Божество, которую со страстностью отстаивал он, как мыслитель. Так, в ясный день при обряде погребения, проповедь ученого, сановитого пастора о крови Христовой уже кажется Тютчеву только «умною, пристойною речью», и он противополагает ей «нетленно-чистое небо» и «голосисто-реющих в воздушной бездне» птиц. В другую минуту, «лениво-дышащим полднем», Тютчеву сказывается и самое имя того божества, которому действительно служит его поэзия,—имя «великого Пана», дремлющего в пещере нимф... И кто знает, не к кругу ли этих мыслей относится странное восклицание, вырвавшееся у Тютчева в какой-то тяжелый миг:

Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении Творца,
И смысла нет в мольбе!

Любовь для Тютчева не светлое, спасающее чувство, не «союз души с душой родной», как «гласит преданье», но «поединок роковой», в котором —

Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей.

Любовь для Тютчева всегда страсть, так как именно страсть близит нас к хаосу. «Пламенно-чудесной игре» глаз Тютчев предпочитает «угрюмый, тусклый огонь *желанья*»; в нем находит он «очарование сильней». Соблазн тайной, запретной любви он ставит выше «невинной», и оправдывает свой выбор тем, что полные, как бы кровью, своим соком виноградные ягоды прекраснее, чем чистые, ароматные розы... Самую страсть Тютчев называет «буйной слепотой» и тем как бы отожествляет ее с ночью. Как слепнет человек во мраке ночи, так слепнет он и во мраке страсти, потому что и тут и там он вступает в область хаоса.

Но в то же время смерть для Тютчева, хотя он склонен был видеть в ней полное и безнадежное исчезновение, исполнена была тайного соблазна. В замечательном стихотворении «Близнецы» он ставит на один уровень смерть и любовь, говоря, что обе они «обворожают сердца своей неразрешимой тайной».

И в мире нет четы прекрасней,
И обаянья нет ужасней,
Ей предающего сердца.

Может быть, этот соблазн смерти заставлял Тютчева находить красоту во всяком умирании. Он видел «таинственную прелесть» в светлости осенних вечеров, ему нравился ущерб: «ущерб», «изнеможенье», «кроткая улыбка увяданья». «Как увядающее мило!»—воскликнул он однажды. Но он и

прямо говорил о красоте смерти. В стихотворении «Mal'aria», любовно изобразив «высокую безоблачную твердь», «теплый ветер, колыщущий верхи дерев», «запах роз», он добавляет:

. . . и это все есть смерть!

И тут же восклицает восторженно:

Люблю сей Божий *гнев, люблю* сие незримо
Во всем разлитое, таинственное *зло....*

Вместе со смертью влекло к себе Тютчева все роковое, все сулящее гибель. С нежностью говорит он о «сердце жаждущем бурь». С такой же нежностью изображает душу, которая, «при роковом сознании своих прав», сама идет навстречу гибели («Две силы есть, две роковые силы»). В истории привлекают его «минуты роковые» («Цицерон»). В глубине самого нежного чувства усматривает он губительную роковую силу. Любовь поэта должна погубить доверившуюся ему «деву» («Не верь, не верь поэту, дева»); птичка должна погибнуть от руки той девушки, которая вскормила ее «от первых перышек» («Недаром милосердым Богом»), причем поэт добавляет:

Настанет день, день *непреложный*,
Питомец твой неосторожный
Погибнет под ногой твоей.

И почти тоном гимна, столь для него необычным, Тютчев славит безнадежную борьбу с Роком человека, заранее осужденного на поражение:

Мужайтесь, о, други, боритесь прилежно,
Хоть бой и не равен, борьба безнадежна!
Пускай Олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец!

В этом постоянном влечении к хаосу, к роковому для человека, Тютчев чувствовал свою душу «жилищею двух миров». Она всегда стремилась переступить порог «второго» бытия. И Тютчев не мог не задавать себе вопроса, возможно-ли переступить этот порог, доступно ли человеку «слиться с беспредельным».

Лиры у Тютчева были две, впрочем, дивно согласованные между собою. Первая была посвящена поэзии, воспевающей «блеск проявлений» дневного мира, поэзии умиротворяющей, явной. Это о ней сказал Тютчев:

Она с небес слетает к нам,
Небесная—к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре,
И на бунтующее море
Льет примирительный елей.

Другая была посвящена хаосу и стремилась повторить «страшные песни», взрывающие в сердце «порой неистовые звуки». Эта поэзия хотела говорить о роковом, о тайном, и ей, чтобы пробудиться, нужен был «оный час видений и чудес», когда душа *теряет память* о своем дневном существовании. О часе таких вдохновений говорит Тютчев:

Тогда густеет ночь, как хаос на водах,
Беспамятство, как Атлас, давит сушу,
Лишь Музы девственную душу,
В пророческих тревожат боги снах...»

10

Хотя в книге **Д. С. Дарского — «Чудесные вымыслы.— О космическом сознании в лирике Тютчева»** (Москва, 1914) и чувствуется несомненная любовь к Тютчеву,—тем не ме-

нее, в общем, работа эта чрезмерно многословна, лишена чувства меры, а главное лишена остова: критик говорит о «космическом сознании», говорит о нем порой бойко, но ему самому оно, очевидно, чуждо.

Мы приводим из этой большой работы лишь несколько наиболее цельных страниц.

«Ряд эпитетов раскроет с очевидностью, какою представлялась Тютчеву обыденная жизнь. „Наружный шум“, „нескромный шум дня“; „буйная година“, „бесчувственная“, „безумная толпа“, „дольний чад“, „хлад бытия“, „волшебный сон“, „утомительные сны“, „тусклая, неподвижная темь“, „удушливо-земное“, „смертная жизнь“—вот выраженья, которые попадаются непрестанно в стихотворениях Тютчева. Взбираясь на горы, поэт обращается к потоку, сбегающему вниз:

Ты к людям, ключ, спешишь в долину,
Попробуй, каково у них.

Именем дня поэт всего чаще обозначает совокупность дел, тревог, интересов, заблуждений,—всего того, чем живут люди, и что можно об'единить в слове: „внешнее“. И воплем до-нельзя угнетенным встречает поэт возвратное возгоранье дневного света.

О, как пронзительны и дики,
Как ненавистны для меня
Сей шум, движенье, говор, клики
Младого, пламенного дня!
О, как лучи его багровы,
Как жгут они мои глаза!
Ночь, ночь, о где твои покровы,
Твой тихий сумрак и роса?..

Поразительна эта нестерпимо-болезненная нервная раздражимость, какую вызывает „житейский, трескучий шум“ и

„беспощадная суета". От соприкосновения с нею поэт испытывает резкую боль; чувствуется, что его организация, потрясенная во всем составе, отказывается перенести поранения, причиняемые „пламенным днем". И только ночь, естественный покров одиночества и отдыха, дарила ему умиротворяющее убежище, где восстанавливалась душевная крепость. Мы помним сравнение с месяцем: туманисто белея днем, как „светозарный бог", сияет он с наступлением сумрака. И снова поэт обращает свои молящие призывы.

Ночь, ночь, о где твои покровы,
Твой тихий сумрак и роса?....

То, что давалось Тютчеву в интуитивном созерцании, он переводил сообразно с запросами своего рефлектирующего ума в абстрактные выводы. Отторгнутый властительной силой мистических инстинктов от слепого участья в событиях дня, подверженный бессознательным постижениям, подчинявшим его идее несущественности реального, одержимый глубочайшим недоверием к жизни в тех формах, в каких она является, — Тютчев направляет свою мысль в изыскания первородного, неискоренимого зла, которое неотделимо от самой сущности феноменального миропорядка и находится в исконном разладе с требованиями человеческого духа. В единомысленном согласии с началами идеалистических систем, он открывает искомое зло в той основе, на которой ткутся единичные существованья, в тех законах бывания, благодаря которым последнее дробится в несоединимой множественности отдельных вещей, явлений и моментов. Причинная необходимость или судьба, и, как условие ее действия, время—таковы имена этих законов, которым подвластно течение мировой жизни.

Смерть и время царят на земле....

И в скорбном созерцании вглядывается Тютчев во внутреннюю природу времени, в это бесконечное становление, в непрерывную смену рождений и уничтоженья, в нескончаемо - повторные возникновенья вытесняющих друг друга мгновений... „То уйдет всецело, чем дышешь и живешь“,—вот мысль, которая никогда не терялась из сознания поэта. Целую жизнь ею болел, не в силах вырвать ее жала. „Удивительно,—пишет он жене,—как в жизни все повторение, как все кажется предназначенным и длиться вечно и повторяться бесконечно—до известного мгновенья, когда все вдруг рушится, все исчезает, и то, что было такою живою действительностью, что представлялось тебе столько же твердым, необ‘ятным, как сама земля под твоими ногами, становится сновидением, которого бытие только в воспоминании и которое самим воспоминанием удерживается лишь с трудом. И когда в жизни подобная операция возобновилась уже не раз: когда уже не одна такая живая реальность, которую считал вечною, отхлынула от тебя и оставила тебя на мели,—тогда, хотя по закону человеческой природы вновь завладевает душою самообольщение о прочности, о продолжительности всего живущего, однако в этом самообольщении кроется уже что-то возбужденное, безпокойное, недоверчивое, и вновь что-то, одним словом, что уже не может забыться сном. Спишь уже только одним глазом и, наперекор самому себе, чувствуешь, что живешь уже только день за день“.. „Что-то возбужденное, беспокойное, недоверчивое“ по отношению к жизни неугасимо тлело в Тютчеве. Не верил бытию, которое тает в сновидении и обращается в ничто. Не верил тому, для чего основой была пустота. Искал прочного, не обманчивого, что утверждало бы себя в неуничтожаемой правде.

Но нигде с большой энергией и величием не выражается трагический ужас перед природой времени, как в стихотворении „Бессонница“. С непревзойденной мощью Тютчев показал в нем себя единственным творцом, способным подчинять своему вдохновению даже наиболее абстрактные философские мысли. Во всей русской лирике не существует примера, где бы с равным пластическим совершенством были воспроизведены идеи, повидимому, невместимые ни в каком образном воплощении. С яркостью художественной наглядности восстанавливаются перед духовным взором всеоб‘емлющие и пустые схемы, не заполненные никаким конкретным содержанием. Но даже в такие ледяные отвлечения ум Тютчева вливал тот „горячий поток, струившийся из сердца, подобный теплым течениям гольфстрема, от которых тают льдины крайнего Севера, разливая тепло и жизнь“.

Тоном непритязательной обыденности, который может себе разрешить лишь наивность гения, не удостаивающего быть умным, Пушкин говорит о своей бессонице:

Мне не спится, нет огня:
Всюду мрак и сон докучный;
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня.

В дальнейшим он передает укоры ночных минут, когда сухи глаза и одинока совесть. Но он не выходит из пределов частного, говоря лишь о своих личных настроениях.—Но вот начинает Тютчев и сразу же тяжкими и гулкими перебоями мрачного вдохновенья поднимает нас к всемирным метафизическим созерцаниям.

Часов однообразный бой
Томительная ночи повесть!
Язык для всех равно чужой
И внятный каждому, как совесть!

Кто без тоски внимал из нас,
Среди всемирного молчанья,
Глухие времени стенанья,
Пророчески-прощальный глас!
Нам мнится: мир осиротелый
Неотразимый рок настиг,
И мы, в борьбе с природой целой,
Покинуты на нас самих.
И наша жизнь стоит пред нами,
Как призрак, на краю земли—
И с нашим веком и друзьями
Бледнеет в сумрачной дали.
И новое, младое племя
Меж тем на солнце расцвело,
А нас, друзья, и наше время
Давно забвеньем занесло.
Лишь изредка, обряд печальный
Свершая в полуночный час,
Металла голос погребальный
Порой оплакивает нас!

Здесь каждое слово выбрано, взвешено и пригнано, как гранитная глыба, здесь каждая строка дышит неразрушимостью тысячелетних построек. Только анализом, неотступно следящим за каждой фразой, можно вскрыть и раздвинуть сжатое содержание.

1. В первой строке дается тема: монотонный и непрерывный бег времени, лишенный всякого эмпирического материала, предстает сознанию, как пустая форма.

Часов однообразный бой.

2. Представление о его необозримой протяженности отзывается в душе безотрадным чувством подавленности.

Томительная ночи повесть...

В дальнейших двух строках с яркостью мгновенного прозрения даны два метафизических открытия.

3. Утверждается, что время, как форма существования, не отвечает сокровенному воленью человеческой души, или, другими словами, не вмещает в себе истинной сущности человека.

Язык для всех равно чужой...

4. Подчиненность сознания форме времени, бессилие сознания освободиться от этой формы, признак греховности человека, которая им смутно в себе чувствуется.

И внятный каждому, как совесть...

5. Ни с чем несравнимое чувство мировой тоски овладевает душою, лишь только воображенье, очистившись от всякого вещественного содержания („среди всемирного молчания“), пред собою вызовет голую, чудовищно-неоглядную бесконечность времени. Мысль, что все в мире насильственно вплетено в железные звенья времени, и непреоборимо им увлекается, что каждый момент есть до конца уничтоженье и гибель, и что этой гибели и уничтожению предопределено всякое существованье,—сообщает чистому восприятию времени траурно-скорбный характер.

Кто без тоски внимал из нас,
Среди всемирного молчанья,
Глухие времени стенанья,
Пророчески-прощальный глас!

6. Но текучее время есть условие, в котором развивается механический, причинный ряд. И когда мысль сосредоточивается на текучести времени, то перед ней поднимается идея безликой, бездушной необходимости, как единственной, верховной, миродержавной силы, которая своим мертвым могуществом противостоит живым и трепетным волненьям сознательного духа.

Нам мнится: мир осиротелый
Неотразимый рок настиг...

7. Человек со своими нравственными стремленьями и владычествующая необходимость выступают, как два враждебных начала, причем пред угрожающим ликом природной закономерности человек, кроме своей бесконечно-ничтожной воли, нигде не находит ни опоры, ни поддержки.

И мы в борьбе с природой целой
Покинуты на нас самих...

8. В свете механического детерминизма жизнь теряет свою моральную ценность. Но без подкрепления нравственной воли слабеет чувство реальности. Душой овладевает уже известное нам ощущение призрачности настоящей жизни.

И наша жизнь стоит пред нами,
Как призрак, на краю земли...

9. Единственная значимость, которую сохраняет существованье, это некоторая длительность во времени, но эта длительность, почти не имеющая измеренья в сравнении с бесконечностью, бесследно в ней стирается.

И с нашим веком и друзьями
Бледнеет в сумрачной дали...

10. Сущность мирового процесса — вечно-однообразное становленье, безостановочная смена возникновенья и гибели, — вечно-повторные перекаты вытесняющих друг друга поколений, смена и перекаты, лишенные какого-либо человеческого смысла.

И новое младое племя
Меж тем на солнце расцвело,
А нас, друзья, и наше время
Давно забвеньем занесло...

11. Отсюда философия беспросветного пессимизма, в которой сознанье возвышается в редкие минуты полночного просветленья.

Лишь изредка, обряд печальный
Свершая в полуночный час,
Металла голос погребальный
Порой оплакивает нас!

В неразрывной близости с принципами индийской мудрости Тютчев увидел в индивидуальной раздельности существ преступление предвечной правды. В мировой множественности признал навождение невидящего рассудка. Отказаться от греха лживого познанья, не упорствовать в недостойном самоутверждении, уверовать в слитное бытие— в этом заповедь. В «Бессоннице» в потрясающем открытии он измерил всю беспощадность рока и ужаснулся. Как смертельно заболевший или приговоренный, он весь ушел в одну думу. Но до конца пережив неотвратимость гибели, потеряв все надежды и отчаявшись, он временами испытывает какое-то неизведанное дотоле облегчение. Ничто не изменилось в мыслях, но в душе наступает спасительный перелом. Спадает угрюмое напряжение, и немятежное входит безволие. Сознание освобождается от привычных понятий и страхов. Вселяется что-то другое и противоположное прежнему,—светлая примиренность и отдача себя роковым силам. Мысль о конце не грозит и не терзает более,—сладостной и изнеможенной радостью исполняет преобразившийся дух. Состояние полнейшей резиньяции, умиленность, покой...

Когда, что звали мы своим,
На век от нас ушло,
И, как под камнем гробовым,
Нам станет тяжело,

Пойдем и бросим беглый взгляд
Туда, по склону вод,
Куда стремглав струи спешат;
Куда поток несет.
Одна другой наперерыв
Спешат, бегут струи
На чей-то роковой призыв,
Им слышимый вдали...
За ними тщётно мы следим:
Им не вернуться вспять;
Но чем мы долее глядим,
Тем легче нам дышать.
И слезы брызнули из глаз,
И видим мы сквозь слез,
Как все, волнуясь и клубясь,
Быстрее понеслось...
Душа впадает в забытье
И чувствует она,
Что вот уносит и ее
Всесильная волна.

Здесь облегчение достигается отказом от сопротивления, ослаблением уз эгоистического самосохранения. Давно завладевшая мысль о ничтожестве всякой частной жизни переходит теперь из сферы только отвлеченного признавания в живое и инстинктивное с ней согласие. Всею телесною и кровною своею полнотой готово увериться существо человека, что в общем для всего живого удела не стоит своекорыстного отстаивания собственное я. Происходит перестановка центра психической жизни. Не в узких, непроницаемых границах себя он устанавливается теперь, но в отдельной «струе», но «во всеоб'емлющем море», в безбрежном, обще-мировом бытии. Именно в таком последнем разуверении в значении личности сказал поэт в другом месте:

Бесследно все, и так легко не быть!

Натура чрезвычайно сложная, многострунная и противоречивая, он явил в себе новый вид мистической души, в которой поверие и отвращение от явного, внешнего миропорядка и порыванья к горнему бытию чудным образом связались с чрезмерно страстным, оргийным жизнечувствованием. И вот в таком-то совмещении полярных противоположностей—крайней серафической бесплотности и первобытно-языческого, животного притяжения ко всему земному, растительному, кровному—в этом совмещении мы должны видеть отличительное своеобразие Тютчевского духа. В бледном пустыннике жила «исступленная и неприличная» Карамазовская жажда жизни, любовь «нутром», «чревом», вопреки логике. Можно подумать, в нем стремилась какая-то другая кровь, в нетленном составе и с убыстренным темпом, великолепная, ярая кровь, присущая сверхчеловеческой расе или лесному полубогу. Бурным боем отзывалась она на все пламенеющее и пьянящее, на сладострастный и жаркий призыв избыточествующей жизни. «Люблю я клейкие весенние листочки и голубое небо»,—в припадке упоенья шепчет Иван Карамазов. И с тою же необузданностью наслажденья восклицает вслед за ним Тютчев.

Люблю, друзья, ласкать очами
Иль пурпур искрометных вин,
Или плодов между листвами
Благоухающий рубин.
Люблю смотреть, когда созданье
Как бы погружено в весне,
И мир заснул в благоуханьи
И улыбается во сне!...
Люблю, когда лицо прекрасной
Весенний воздух пламенит,
То кудрей шелк взвевает сладострастный,
То в ямочки впивается ланит.

«Оставайтесь верны земле со всею силою вашей добродетели»—проповедует Заратустра, и ныне нам открылось, что в этой «верности земле» зачинается или возрождается новая религия. В рубине плодов, и в пурпуре вин, и в сонной улыбке благоухающего мира мы научаемся узнавать божественную полноту,—расточительную и неисчерпаемую. И в своей юной вере мы не должны забывать, что еще до рождения пророка земли, как его единоверный предтеча, Тютчев возвещал ту же любовь к земному, к тучной, плодоносной почве, к утробным сокам природы. Едва ли не первый в нашей литературе Тютчев открыто отрекся от всех супранатуралистических упований, по новому потянул к покинутой владычице-земле. «Центростремительной силы еще страшно много на нашей планете»,—говорит Иван Карамазов, и эту силу с давно небывалым напряжением вместил в себе Тютчев:

Нет, моего к тебе пристрастья
Я скрыть не в силах, мать-земля!
Духов бесплотных сладострастья,
Твой верный сын, не жажду я.
Что пред тобой утехи рая,
Пора любви, пора весны,
Цветущее блаженство мая,
Румяный свет, златые сны?

Вместо непредставимых и чуждых «утех рая», вместо блаженства «бесплотных духов» поэт обещает радости земного исповедания,—беспечальный покой и наслаждения «верных сынов земли»:

Весь день в бездействии глубоком
Весенний теплый воздух пить,
На небе чистом и высоком
Порою облака следить,

Бродить без дела и без цели
И ненароком, на лету,
Набресть на свежий дух синели
Или на светлую мечту!...

Сколько здесь и простодушно-языческого упоения и, вместе, того светлого «веселия сердца», которому учат христианские проповедники. И нет ли здесь своей, родной человеку и такой немудреной святости? Низшее и высшее, духовное и телесное объединяются, сливаются в чем-то третьем и неизмеримо-проникновенном, в такой органической, стихийно-бессознательной связи с вселенскою жизнью, когда расплываются чувства в дремотном самозабвении, когда перестаешь различать, где кончается свое и начинается природное. Происходит какое-то физическое растворение, когда уже неразличимо сблизились и «свежий дух синели», и «светлая мечта».

ПРИЛОЖЕНИЕ I [1]

1. УТРО В ГОРАХ

Лазурь небесная смеется,
Ночной омытая грозой,
И между гор росисто вьется
Долина светлой полосой.

Лишь высших гор до половины
Туманы покрывают скат,
Как бы воздушные руины
Волшебством созданных палат.

2. СНЕЖНЫЕ ГОРЫ

Уже полдневная пора
Палит отвесными лучами,
И задымилася гора
С своими черными лесами.

---

[1] Стихи, выбранные Некрасовым.—См. статью его в «Обзоре» стр. 29—35. Стихотворения этого отдела печатаются нами в том виде, как они появились в 1854 году.

Внизу, как зеркало стальное,
Синеют озера струи,
И с камней, блещущих на зное,
В родную глубь спешат ручьи.

И между тем, как полусонный,
Наш дольний мир, лишенный сил,
Проникнут негой благовонной,
Во мгле полуденной почил,—

Горе, как божества родные,
Над усыпленною землей,
Играют выси ледяные
С лазурью неба огневой.

3. ПОЛДЕНЬ

Лениво дышит полдень мглистый;
Лениво катится река,
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.

И всю природу, как туман,
Дремота жаркая об'емлет,
И сам теперь великий Пан
В пещере нимф спокойно дремлет.

4

Песок сыпучий по колени...
Мы едем поздно; меркнет день;
И сосен по дороге тени
Уже в одну слилися тень.

Черней и чаще бор глубокий...
Какие грустные места!
Ночь хмурая, как зверь стоокий,
Глядит из каждого куста.

5. ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть...
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест;
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою;
Ущерб, изнеможенье и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Чтó в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья.

6

Чтó ты клонишь над водами,
Ива, макушку свою
И дрожащими листами,
Словно жадными устами,
Ловишь беглую струю?

Хоть томится, хоть трепещет
Каждый лист твой над струей,
Но струя бежит и плещет,
И на солнце нежась блещет,
И смеется над тобой.

7. ВЕСЕННИЕ ВОДЫ

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят,
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят—

Оне гласят во все концы:
„Весна идет, весна идет;
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!“

Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых, майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!

8

Как океан об'емлет шар земной,
Земная жизнь кругом об'ята снами;
Настанет ночь—и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.

То глас ее: он нудит нас и просит,
Уж в пристани волшебной ожил челн,
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

9

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край...
День вечерел; мы были двое.
Внизу, в тени, шумел Дунай.
И на холму, там, где, белея,
Руина замка в даль глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,
Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой...
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и с замком, и с тобой.
И вечер тихий мимолетом
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свевал.
Ты беззаботно в даль глядела...
Край неба дымно гас в лучах;
День догорал, звучнее пела
Река в померкших берегах.
И ты, с веселостью беспечной,
Счастливый провожала день...
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

10

Не то, что мните вы, природа—
Не слепок, не бездушный лик.

Вы зрите лист и цвет на древе.
Иль их садовник приклеил?
Иль зреет плод в родимом чреве
Игрою внешних, чудных сил?..

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как в потьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела
При них леса не говорили,
И ночь в звездах нема была!

И, языками неземными
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза.

Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Увы, души в нем не встревожит
И голос матери самой.

11. С КАКОЮ НЕГОЮ

С какою негою, с какой тоской влюбленный
Твой взор, твой страстный взор изнемогал на нем!..
Бессмысленно-нема, нема, как опаленный
Небесной молнии огнем.

Вдруг, от избытка чувств, от полноты сердечной,
Вся трепет, вся в слезах, ты повергалась ниц.
Но скоро добрый сон, младенчески беспечный,
Сходил на шолк твоих ресниц.

И на руки к нему глава твоя склонялась,
И матери нежней тебя лелеял он...
Стон замирал в устах, дыханье уравнялось...
И тих и сладок был твой сон.

А днесь... О, если бы тогда тебе приснилось,
Что будущность для нас обоих берегла...
Как уязвленная, ты б с воплем пробудилась,
Иль в сон иной бы перешла.

12

И гроб опущен уж в могилу,
И все столпилося вокруг.
Толкутся, дышат через силу,
Спирает грудь тлетворный дух.

И над могилою раскрытой,
В возглавии, где гроб стоит,
Ученый пастор сановитый
Речь погребальную гласит.

Вещает бренность человечью,
Грехопаденье, кровь Христа:
И умною, пристойной речью
Толпа различно занята.

А небо так нетленно-чисто,
Так беспредельно над землей,
И птицы реют голосисто
В воздушной бездне голубой...

13. ИТАЛЬЯНСКАЯ VILLA

И, распростясь с тревогою житейской
И кипарисной рощей заслонясь,
Блаженной тенью—тенью Елисейской
Она заснула в добрый час.

И вот уж века два тому иль боле,
Волшебною мечтой ограждена,
В своей цветущей опочив юдоли,
На волю неба предалась она.

Но небо здесь к земле так благосклонно!
И много лет и теплых, южных зим
Провеяло над нею полусонной,
Не тронувши ее крылом своим.

По прежнему в углу фонтан лепечет,
Под потолком гуляет ветерок,
И ласточка влетает и щебечет...
И спит она, и сон ее глубок!

И мы вошли: все было так спокойно,
Так все от века мирно и темно!
Фонтан журчал, недвижимо и стройно
Соседний кипарис глядел в окно.

Вдруг все смутилось: судорожный трепет
По ветвям кипарисным пробежал,
Фонтан замолк, и некий чудный лепет,
Как бы сквозь сон, невнятно прошептал.

Что́ это, друг? Иль злая жизнь недаром,
Та жизнь, увы! что́ в нас тогда текла,
Та злая жизнь, с ее мятежным жаром,
Через порог заветный перешла?

14. SILENTIUM!

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои!
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне,
Безмолвно, как звезды в ночи:
Любуйся ими—и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь;
Взрывая, возмутишь ключи:
Питайся ими—и молчи.

Лишь жить в себе самом умей.
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум:
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи:
Внимай их пенью—и молчи!

15

Как птичка раннею зарей,
Мир, пробудившись, встрепенулся...
Ах, лишь одной главы моей
Сон благодатный не коснулся!
Хоть свежесть утренняя веет
В моих всклокоченных власах,
На мне, я чую, тяготеет
Вчерашний зной, вчерашний прах!

О, как пронзительны и дики,
Как ненавистны для меня
Сей шум, движенье, говор, клики
Младого, пламенного дня!
О, как лучи его багровы,
Как жгут они мои глаза!
О, ночь, ночь, где твои покровы,
Твой тихий сумрак и роса?..

Обломки старых поколений,
Вы, пережившие свой век,
Как ваших жалоб, ваших пеней
Неправый праведен упрек!
Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..

16

Как над горячею золой
Дымится свиток и сгорает,

И огнь, сокрытый и глухой,
Слова и строки пожирает;
Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом;
Так постепенно гасну я
В однообразьи нестерпимом...
О небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И, не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы—и погас!

17

Душа моя—элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни замыслам годины буйной сей,
Ни радостям, ни горю не причастных.

Душа моя—элизиум теней,
Что́ общего меж жизнью и тобою?
Меж вами, призраки минувших лучших дней,
И сей бесчувственной толпою?

18

В душном воздухе молчанье,
Как предчувствие грозы,
Жарче роз благоуханье,
Звонче голос стрекозы.

Чу! за белой, душной тучей
Глухо прокатился гром,
Небо молнией летучей
Опоясалось кругом...

Жизни некий преизбыток
В знойном воздухе разлит,
Как божественный напиток,
В жилах млеет и горит!..

Дева, дева, что́ волнует
Дымку персей молодых?
Что мутится, что тоскует
Влажный блеск очей твоих?

Что́, бледнея, замирает
Пламя девственных ланит?
Что́ так грудь твою спирает
И уста твои палит?

Сквозь ресницы шелковые
Проступили две слезы...
Иль то капли дождевые
Зачинающей грозы?...

19

Через ливонские я проезжал поля,
Вокруг меня все было так уныло,
Бесцветный грунт небес, песчаная земля,—
Все на́ душу раздумье наводило.

Я вспомнил о былом печальной сей земли,
Кровавую и мрачную ту пору,

Когда сыны ее, простертые в пыли,
Лобзали рыцарскую шпору.

И, глядя на тебя, пустынная река,
И на тебя, прибрежная дуброва,
Вы,—мыслил я—пришли издалека,
Вы сверстники сего былова!

Так, вам одним лишь удалось
Дойти до нас с брегов другого света.
О, еслиб про него хоть на один вопрос
Мог допроситься я ответа!...

Но твой, природа, мир о днях былых молчит,
С улыбкою двусмысленной и тайной:
Так отрок, чар ночных свидетель быв случайный,
Про них и днем молчание хранит.

20

О чем ты воешь, ветр ночной,
О чем так сетуешь безумно?
Чтó значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумный?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке
И роешь, и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!

Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!...
О, бурь заснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!...

21

Душа хотела б быть звездой,—
Но не тогда, как с неба полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной.—

Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом.

22

Так здесь-то суждено нам было
Сказать последнее прости,—
Прости всему, чем сердце жило,
Чтó, жизнь убив, ее испепелило
В твоей измученной груди!

Прости... Чрез много, много лет
Ты будешь помнить с содроганьем
Сей край, сей брег с его полуденным сияньем,
Где вечный блеск и долгий цвет,
Где поздних, бледных роз дыханьем
Декабрьский воздух разогрет.

ПРИЛОЖЕНИЕ II [1]

23. СУМЕРКИ

Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул;
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!
Все во мне,—и я во всем...

Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства—мглой самозабвенья,
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай.

[1]) Стихи, дополняющие Некрасовский изборник.

24

Люблю глаза твои, мой друг,
С игрой их пламенно-чудесной,
Когда их приподнимешь вдруг
И словно молнией небесной
Окинешь бегло целый круг...

Но есть сильней очарованье:
Глаза, потупленные ниц,
В минуты страстного лобзанья,
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огнь желанья...

25. ВИДЕНИЕ

Есть некий час всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.
Тогда густеет ночь, как хаос на водáх;
Беспамятство, как Атлас, давит сушу;
Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах.

26. MAL'ARIA

Люблю сей Божий гнев! Люблю сие, незримо
Во всем разлитое, таинственное зло—
В цветах, в источнике прозрачном, как стекло,
И в радужных лучах, и в самом небе Рима!

Все та ж высокая, безоблачная твердь,
Все так же грудь твоя легко и сладко дышит,
Все тот же теплый ветр верхи дерев колышет,
Все тот же запах роз... и это все—есть смерть!

Как ведать? Может быть, и есть в природе звуки,
Благоухания, цвета и голоса,—
Предвестники для нас последнего часа́,
И усладители последней нашей муки.
И ими-то судеб посланник роковой,
Когда сынов земли из жизни вызывает,
Как тканью легкою, свой образ прикрывает,
Да утаит от них приход ужасный свой.

27. БЕЗУМИЕ

Там, где с землею обгорелой
Слился, как дым, небесный свод,
Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живет.
Под раскаленными лучами,
Зарывшись в пламенных песках,
Оно стеклянными очами
Чего-то ищет в облаках.
То вспрянет вдруг и, чутким ухом
Припав к растреснувшей земле,
Чему-то внемлет жадным слухом
С довольством тайным на челе.

И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных вод,
И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход.

28. ФОНТАН

Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится,
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом, поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.
О, смертной мысли водомет,
О, водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя страшит, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.

29. ДЕНЬ И НОЧЬ

На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканный
Высокой волею богов.

День — сей блистательный покров,
День, земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!
Но меркнет день, настала ночь;
Пришла—и с мира рокового
Ткань благодатную покрова,
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами:
Вот отчего нам ночь страшна!

30. БЛИЗНЕЦЫ

Есть близнецы—для земнородных
Два божества—то смерть и сон,
Как брат с сестрою дивно сходных—
Она угрюмей, кротче он...

Но есть других два близнеца,
И в мире нет четы прекрасней,
И обаянья нет ужасней,
Ей предающего сердца...

Союз их кровный, не случайный,
И только в роковые дни
Своей неразрешимой тайной
Обворожают нас они.

И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений,—
Самоубийство и любовь!

31

Не рассуждай, не хлопочи!
Безумство ищет, глупость судит;
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть тому, что́ будет.

Живя, умей все пережить:
Печаль, и радость, и тревогу.
Чего желать, о чем тужить?
День пережит—и слава Богу.

32. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

Полнеба охватила тень,
Лишь там на западе брезжит сиянье,
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье!

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О, ты последняя любовь!
Блаженство ты и безнадежность.

33

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора:
Прозрачный воздух, день хрустальный,
И лучезарны вечера...
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто все—простор везде;
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле;
Но далеко еще до первых зимних бурь,
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле.

34

Она сидела на полу
И груду писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.
Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.

И сколько жизни было тут,
Невозвратимо пережитой,
И сколько горестных минут,
Любви и радости убитой.

Стоял я молча в стороне
И пасть готов был на колени,
И страшно грустно было мне,
Как от присущей милой тени.

35

Est in arundineis modulatio musica ripis.

Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох
Струится в зыбких камышах.

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе;
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что́ море,
И ропщет мыслящий тростник?

И, от земли до крайних звезд,
Все безответен и поныне
Глас вопиющего в пустыне,
Души отчаянный протест.

36

Природа—сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

37. ПО ДОРОГЕ ВО ВЩИЖ

От жизни той, что́ бушевала здесь,
От крови той, что́ здесь рекой лилась,
Что́ уцелело, что́ дошло до нас?
Два-три кургана видим мы по-днесь...
Да два-три дуба выросли на них,
Раскинувшись и широко и смело,
Красуются, шумят, и нет им дела,
Чей прах, чью память кроют корни их.
Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих—лишь грезою природы.
Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.

СОДЕРЖАНИЕ




BOUND BY
HNM

